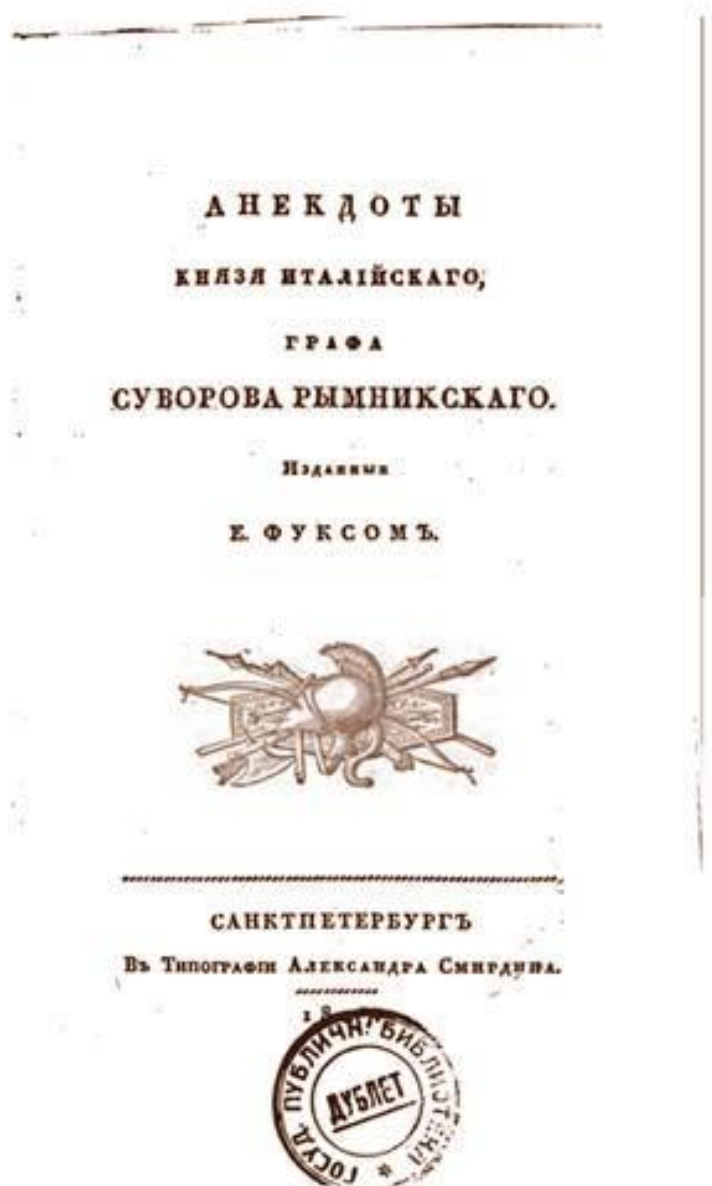


**Анекдоты Князя Италийского, Графа  
Суворова Рымникского.  
Изданные Е. Фуксом.**



Печатать позволено:

С тем, чтобы по напечатании, до выпуска из Типографии, представлены были в Главный Цензурный Комитет семь экземпляров сей книги, для препровождения куда следует, на основании узаконений. С Петербург, Ноября 16 дня 1827 года.

*Цензор Александр Красовский.*

## Другу.

[I] Вот вам, любезнейший и почтеннейший друг, *анекдоты* мои о Суворове. Многие писал я еще при жизни его; многие растерял в походах; многими, о которых вспомнил, пополнил недостающие. Боюсь, что, может быть, забыл поместить какой-нибудь достопамятный, который лучше всех этих ознаменовал бы и душу и ум его. Но если вспомню, то присоединю непременно. Исполнив обет, данный моему великому благодетелю, кончив Историю Российско-Австрийской кампании, я теперь отдыхаю и пишу, что вспомню. Чувствую, и вы со мною согласитесь, что все, разбросанные в анекдотах сих, черты не составляют еще полного, похожего его портрета. Все великие полководцы, древнейших и новейших веков, имели свои особенности, без которых не отличались бы от толпы; но они следовали светским приличиям. Наш же, как будто выпрыгнул из сей сферы, и представляет собою необыкновенное, единственное явление и на военном поприще, где он непобедим, и в кабинете своем, где [II] непостижим. Румянцевых, Кутузовых, Тюренев и других мы знаем: ибо они действовали, обращались с людьми по-людски, говорили нашим языком; тонкости и тайны их раскрылись. Но Суворов, по словам Клинтонна, остается иероглифом и в потомстве. Спросите всех, оставшихся еще в живых стариков, которые знали его лично, и вы услышите суждения об нем противоречащие: одни будут его возносить до небес; другие же, а особливо видевшие его однажды, находили его человеком расстроенного рассудка. Не сердитесь на последних: — я в начале принадлежал к их числу. Признаюсь; что первое мое свидание с ним произвело во мне впечатление, весьма невыгодное. Меня представил Генерал от Инфантерии А. Г. Розенберг. Суворов выбежал в рубашке, утирая лицо тряпицей. «Кто это такой?» спросил он его. Тот отвечал: «Это Статский Советник Фукс». — «Ах, помилуй Бог, какой ты худощавый, тебе надобно со мною ездить верхом». Вот Для меня новая забота! от роду верхом я не ездил. — После спросил опять Розенберга: «а этот кто?» Ответ: Статский Советник Башловский. — «Ах, как ты толст», сказал он ему, — «я к тебе залезу в брюхо [III] погреться, когда озябну». Такое вступление в новое знакомство мне очень не понравилось, и я ушел от его обеда. За столом спрашивал он, куда девался худощавый Бригадир? и ему отвечали, что занемог коливою. — От многих старался я узнавать о первых впечатлениях, которые производил его прием; и все согласовались с моими чувствами. Чтобы и вы со мною согласились, позвольте мне вас ему представить. Переселимся мысленно в век его и сыграем комедию; но невымышленную. Зная вас, ваше воспитание, вашу образованность, ваше уважение к вельможам, вы бы конечно пожелали увидеть того знаменитого Россиянина, героя всех веков прошедших и будущих. Вы, может быть, невольно приготовились бы сказать ему что-нибудь лестное; но вдруг, где вы? — в избе, или простой горнице; старик, в солдатской куртке или в рубашке, без докладов выбегает, обнимает вас, начинает вам рассказывать странности, небылицы, прыгает, вертится, делает вам вопросы, ни с чем несообразные. Вы трепещете, чтобы не проговориться, не попасть в немогузнайки; и кто же этот чудак? Суворов! — Наверно сказали бы вы мне тоже, что один добрый и достойный [IV] приятель мой, которого я уговорил представиться ему, и которому он сказал, увидя большой его нос: «Поцеловал бы тебя в губы, но нос мешает». Приятель мой сим оскорбился, и сказал мне с досадою: «Что вам вздумалось привести меня в дом сумасшедших». Хотел было тотчас уйти. — Так и Лейб-Медик, Вейкарт, после первого приема, хотел немедленно возвратиться в Петербург. И он обиделся отзывом Суворова, что Наум, его фельдшер, первый врач в Европе. А так как у Вейкарта выговор немецкий ему не понравился, то велел ему говоришь по-Русски, и отвечать даже на этом языке, если бы Суворов и забывшись стал с ним говорить по-немецки. Вейкарт с трудностью изъяснялся по-русски. Подивитесь же теперь! Приятель мой сделался в продолжение времени преданнейшим человеком Суворова; а Вейкарта застаю я в Вильне на коленях пред Распятием молящегося с пролитием слез. Я испугался и спросил его, не получил ли

он из Петербурга неприятных о семействе Своем известий? «Нет», — отвечал он, — «вижу, что Медицина наша ограничена; я прибегаю и молю всех благ Подателя, да вразумит меня исцелить нашего отца», — так все [V] окружавшие его, после первых тяжких испытаний, делались его приверженцами. — что подумали бы вы на сей аудиенции, увидя Генералиссимуса, то подбегающего к вам, то отбегающего, начинающего в одном углу делать сравнение древних Греков с Римлянами; вдруг слышите вы рассказы о бывшей пляске в Боровицком уезде; отсюда переход к Римнику, повествование о сражении, которого вы не понимаете. Но довольно: вы устали; выходите из сего сумбурного мира, и спрашиваете меня, где же Суворов? Он в своем кабинете: там все, что вы видели и слышали здесь, прекращается. Там однажды я некстати расшутился, и он мне сказал: «Зачем не сберег ты лучшие эти материалы для стола; теперь пора рабочая. Там диктует он диспозицию к сражению, взвешивает в уме своем силы неприятельские, назначает позиции своим войскам, предписывает им действия новые, чертит сам планы, или поправляет ошибки искуснейших своих Генерал-Квартирмейстеров, Шателера и Цаха, которые за то не сердятся, но изумляются и благодарят его. Румянцевы, Конде, Тюрены и весь Ареопаг великих полководцев, кажется, в нем воскресают. Это [VI] не лесть: неумолкающий гром шестидесяти победоносных сражений возвещает то вселенной! Вы увидели бы редкий феномен: человека в двух лицах; переменили бы прежнее одностороннее свое об нем суждение, и умолкли. Но после сего молчания угадываю уже ваш вопрос: «Зачем же такому великому мужу показываться чудаком»? Вот этого-то вопроса я и трепетал. — Скажу вам, что знаю; наперед чувствую, что не удовлетворю вполне вашему любопытству. Старики рассказывали мне, что он начал так странничать с Полковничьего чина, когда с полком своим осадил и взял приступом Монастырь. Нам остается только удивляться, как чрез столь долгое время, по конец жизни своей, носил он сию личину странностей! Он, по-видимому, не хотел сложить ее с себя, чтобы не перестать быть Суворовым. Расскажу вам, что мне говорил на этот счет один престарелый, тридцатипятилетний соратник Суворова. Вот его слова: «Он решился быть единственным, ни на кого не походить. Для сего пробежал он прежде обширное поле Истории всех веков; вы видите, с каким вниманием читает, слушает, твердит он биографии всех великих [VII] мужей, хвалит примеры их величия; но, для своей славы, прокладывает новую, дотоле неизвестную тропу. Он знает, что наружность его не позволяет ему когда-либо сравниться с особенною сановитостию и даром слова Румянцева; что дабы уподобиться в великолепии и в огромных замыслах Потемкина, нужны были бы несметные миллионы злата. Поверьте мне», — продолжал Вилим Христофорович Дерфельден, «сей мнимый враг зеркала, замечая в оном невидную свою наружность, начертил тогда же план той роли, которую теперь играет. Мы все видим неутомимое его стремление, быть героем и казаться чудаком. И мы не можем довольно возблагодарить Промыслу, вознесшему на отечественный Престол наш образец во благости Царей — Екатерину. Она в странностях Суворова, нетерпимых во всякой службе под другим Правлением, видела зарю будущей Своей славы». — слова сии, плоды тридцатипятилетних наблюдений! Присоединю здесь нечто на счет пользы, от странностей его происходившей. Я видел нередко, как приходили к нему Союзные Генералы, с жалобами, или объяснениями по недоразумениям, столь часто между Союзниками возникающим и угрожавшим [VIII] тогда неприятными последствиями, даже разрывом. Но одно его неожиданное острое слово, шуточный какой-нибудь рассказ о постороннем предмете, проказливые скачки — потушали вдруг пламя раздора в самом его начале. Они забывали иногда, за чем приходили. — Ценою многочисленных побед, беспредельной доверенности к нему войска и опытного знания сердца человеческого, приобрел он сие преимущество издеваться над всеми, когда мы думали, что мы над ним смеемся. Он был оригинал, и оригинал неподражаемый. — Не могу не упомянуть здесь о следующем, ему пересказанном анекдоте, что когда один Генерал, желавший идти по следам его, закричал однажды войску словами и голосом Суворова: «Здравствуйте,

ребята, чудо-богатыри, друзья мои, и пр. и пр.», то все солдаты расхохотались, и произнесли в один голос: «Что этот старик к нам привязался?» Все его восклицания действия над ними не произвели. Восторг, с каким выслушал Суворов сей анекдот, обнаружил слишком торжество его в неподражаемой его оригинальности. Из многих, здесь помещенных анекдотов увидите вы, что он не хотел походить на тех военачальников, о [IX] которых говорят только в продолжении их начальствования. Нет, он хотел и вне круга сей деятельности быть предметом беспрестанных разговоров своих воинов, жить в сердцах их, быть, как я уже сказал, книгою в их избах, забавлять собою и удивлять, и с особенностью характера своего стоять наравне с воинским своим гением. Играть такую роль, ни от кого незаимствованную, а самим собой для себя сотворенную, выдерживать ее во всех превратностях долговременной жизни своей, преобразить ее во вторую себе натуру — есть, в нравственном мире, явление чудесное! И сему то жертвовал он своим умом, своими нравственными и физическими силами, своим покоем, так сказать: всем бытием своим! — и для чего?... чтобы быть человеком необыкновенным, единственным; чтобы сиять в Истории благотворным для человечества феноменом. раскройте сии анекдоты, обрисовывающие раскиданные отрывки его умоначертания, и вы встретите в них следы стремления его к сей единой цели. — В одном анекдоте говорит Суворов, что Александр не сжег Афин для того, чтобы в тамошних гостиницах рассказывали о его гаарствах. «Пусть», — [X] — присоединяет он, — «и о моих солдатских проказах говорят в артелях». Сие-то лучше всего отпечатывает порывы его к бессмертию. — И этого Россиянина, за то, что он был знаменитый Россиянин, пестрили, марали, чернили пристрастные, злобою упитанные перья некоторых Историков Германии и Франции. Но известный на германском горизонте писатель, Сеуме, побуждаемый благородством чувств и справедливости, отважился быть его защитником; за то иностранные журналы восстали на него, и обвиняли его в пристрастии — так укоренилось предубеждение против Суворова! — Г. Сеуме был Российской службы офицером, за неявку в срок в полк свой выключен, возвратился в Германию, и сделался известным своими сочинениями, а более описанием странствования своего пешком в Сиракузы. В оном говорит он о Суворове; и я с удовольствием выписываю вам здесь в переводе слова сего чужеземца, для которого истина священна.

Вот как он говорит: «Город Айроло, на Альпийских горах, был моим [XI] вторым ночлегом. Здесь поместился я в доме, в котором говорили по-немецки, по-италиянски и по-французски. Хозяин дома составлял с своим семейством приятный круг, /где я тотчас водворился. Суворов стоял у него несколько времени на квартире, и оба мы имели тотчас пункт прикосновенности. Он был преисполнен энтузиазма к старику Генералу, и хвалил особенно его любезность и снисходительность, что может быть многим покажется странным и подозрительным. Но я не вижу, зачем бы хозяину в Айроле, на высоте Сен-Готара, говорить о том, чего он не видал. Суворов был не один Генерал, который во время войны сделал ему честь жить у него в доме: он описывал других, как он их находил. Многие из них известны всем. Я имел уже двусмысленное счастье слыть приверженцем старому Суворову, а я старался только спасти истинный его характер, и истолковывать некоторые феномены, которые ставили ему в вину. Лев умер; и все на него бросаются. Знаю, что вся жизнь его была цепь особенностей. Но если послушаешь его недоброхотов, то он вздорный, бесхарактерный старик; а таким он, право, никогда [XII] не был. Странность была вообще его отпечаток. Политические тогдашние отношения показывают, в каком мучительном положении находился Суворов; он говорил об ошибках смело, без пощады и лицепрятия; был стар и болен, и предвидел конец своей жизни. Неудовольствие его в таковых обстоятельствах не могло уменьшиться. Проступки некоторых его подчиненных приписывались ему в вину. Как правдивый муж, знающий себе цену, но с железною грудью солдата, имел он особенности, которые казались иным проказами. Он был строг к себе и в требованиях от других. Рассказывали об нем, в одном иностранном городе, как о постыдном скряге; но это грубая ложь: ибо в характере его

столь же мало скупости, сколько и хвастливой расточительности. — Я совершенно удостоверен, что Суворов был честный человек, а не жестокосердый. Ты знаешь, что я ему ничем не обязан, а потому и не можешь находишь в моих отзывах об нем ничего иного, кроме честного моего мнения. Если верить Англичанам, которые личным своим характером заслуживают доверие; то Северный Суворов, если и все справедливо, что об нем рассказывают, [XIII] пребудет навсегда образцом человеколюбия пред героем нашего времени, Бонапартом, который в восточных своих походах расстреливал картечами по тысячам пленных.

Здесь, на высоте Сен-Готара, утверждают, что если бы Суворов имел время перебросить хотя 6000 с горы в Цюрих, то сражение было бы столь же ужасно для Французов, сколько для Русских. Все Французы, с которыми я об этом говорил, подтверждают тоже самое, и говорят, что удаление Ерц-Герцога, вовлеченного в сети фальшивого маневра на Нижнем Рейне, было причиною их удачи.» Кончим словами Тасса; что тот сказал о Виргилие, то скажем о Суворове: «Пойдем ему во след, не с тем, что бы с ним равняться, или его превзойти; но чтобы, останавливаясь на каждой тропинке его, любоваться и удивляться.» — Прощайте. Вот вам в анекдотах Суворов, каким я его знал.

## Анекдоты о Суворове

Неизвестно, по каким обстоятельствам при Екатерине Суворов не был однажды внесен в список действующих генералов. Это его весьма огорчало. Приехав в Петербург, является он к Императрице; бросается к ее ногам и лежит неподвижно простертым. Императрица подает ему руку, чтобы его поднять. Он тотчас вспрыгнул, поцеловал ее десницу и воскликнул: «Кто теперь против меня? Сама монархиня меня восстанавливает!». В тот же день было катанье по Царскосельскому пруду на яликах. Суворов имел счастье быть гребцом Екатерины. Когда подъехал к берегу, то сделал из судна такой отважный скачок, что Государыня испугалась, он просил у нее извинения, что, считаясь инвалидом, возил Ее Величество неисправно. «Нет! — отвечала она, — кто делает такие прыжки, *salto mortale*, тот не инвалид». [2] И в тот же день внесен он в военный список генералов и получил начальство.

В Турин явились три депутата из Лукки, с прошением о принятии несчастного сего герцогства под покровительство Российского оружия. Они были приглашены к столу Фельдмаршала. В продолжение обеда он подробно расспрашивал о местоположении, торговле и о многих статистических подробностях их отечества. Замечал он между прочим, что в течение нескольких столетий сия знаменитая некогда римская провинция переходила из рук в руки от одного владельца к другому с молотка, и показал необыкновенные исторические свои о том крае знания. В заключение спросил: «Что есть в Лукке самое достопамятнейшее?» Один из Депутатов отвечал: «Тереза Бандентини, знаменитейшая во всей Италии *Improvisatrice* (*импровизаторша* (*ит.*)), член разных академий, краса и гордость нашей родины. Она поручила нам просить у героя Суворова его биографии; ибо намеревается воспеть [3] его победы». Александр Васильевич несколько задумался и произнес: «Зачем избрала она себе предметом такой оригинал?» Депутат подхватил: «Лишь оригинальности пиитического гения нашей Бандентини приличествует воспеть такого великого оригинала». Мне велено было сообщить все, что я

имел и знал. Она написала превосходнейшую на победы Суворова в Италии оду, напечатанную в Лукке. В сем творении вдохновения ее блистают сила воображения, истина и гармония выражения.

Граф Сент-Андре, почтенный сардинский генерал, преданный Суворову, сказал ему однажды в разговоре: «Ваше Сиятельство имеет врагов, но не соперников».

Однажды князь наедине со мною в кабинете, по окончании дел, спросил меня: «Будешь ли писать в истории моей и анекдоты обо мне?» Я отвечал: «Непременно, если буду жив». — «Напрасно, напрасно, — возразил он, — я небогат [4] анекдотами, а странностями, проказами; я чудак, мальчишка, и пр. и пр». Опять просил я Его Сиятельство предоставить судить о себе другим. «Да какая польза от анекдотов?» — был его вопрос. Ответ мой: «Величайшая. По мнению моему, чтение анекдотов из Плутарха образовало наиболее военных людей. Это черты, из которых составляется портрет, образец соревнованию. И нередко один анекдот, лучше всякого пера истории, изображает нам характер и гений героя. Прочитав в Светонии анекдоты из частной жизни Цезарей, мы лучше обнимаем Тацита, Тита Ливия, Саллюстия и всю римскую историю. Сам Цезарь собирал острые слова, апофтегмы Цицерона, а цензор Катон — достопамятные сказания знаменитых своих соотечественников. И если позволите мне...» — «Продолжай, продолжай, — вскрикнул он, — ты говоришь, как книга». — «Позвольте мне сказать: Архенголец в Истории Семилетней войны выставил Фридриха Марсом, а Битинг в анекдотах — человеком в кабинете и частной его жизни, и из сей совокупности выходит [5] Фридрих великим. Без Голикова и Штелина не знали бы мы нашего Петра Великого, как мы теперь его знаем. Так из анекдотов моих узнают и того, перед которым я имею счастье теперь стоять». Он тотчас вскочил, благословил меня и сказал: «Ступай; пора тебе отдыхать, ты устал». Но на лице его читал я удовольствие.

Когда австрийский генерал, граф Беллегард, и великобританский посланник при венском Дворе лорд Минто приехали в Прагу, в Богемии, уговаривать возвращавшегося уже с армиею в Россию Суворова о начатии новых военных действий, то он, согласно с полученными от Двора своего предписаниями, от того уклонился; но продиктовал следующую на французском языке заметку: «Si Ton fait encore la guerre a la France, qu'on la fasse bien; si on la fait mal, ce sera un poison mortel. Il vaut mille fois mieux ne pas l'entreprendre, telle qu'elle a deja eu lieu. Tout homme qui a etudie le genie de la revolution, seroit criminel de le taire. La premiere grande [6] guerre qu'on fera a la France, sera aussi la derniere»; т.е.: «Если начать еще раз войну с Франциею, то надобно ее вести хорошо; если поведут ее худо, то это будет смертельный яд. Тысяча раз лучше ее не предпринимать по-прежнему. Всякий, вникнувший в дух революции, был бы преступником, если бы о сем умолчал. Первая большая война с Франциею будет и последнею».

Князь Александр Васильевич любил скорые ответы без остановки. Он хотел в сем роде испытания быть Лафатером: узнавать, как тот — характер человека по физиономии, так он — по ответу. Многие очень ошибались, думая, что, отвечая ему скоро и нелепо, ему угождали. Правда, он замолчит, но оценит пустослова. Приведу здесь один пример. Однажды, еще накануне, поднесен был рапорт о присоединении к нашей армии 3500 сардинских войск. Несмотря на то, что он сие знал, подходил к каждому с вопросом о числе их. Всякий отвечал наобум. Иной 5000, другой 2000, а некто [7] 20000. «Ах, помилуй Бог, как ты щедр!» — вскрикнул и отскочил от него. Но один генерал объявил истинное число. Тотчас шепнул он мне, чтобы пригласить его к столу. За завтраком он

потчевал его из своих рук редькою, что у него почиталось особенным отличием. За обедом беседовал с ним и обратил разговор на необходимую обязанность военного начальника знать число своего войска. «Румянцев, — заключил он, — знал не только число своего войска, но и имена солдат. Через десять лет после Кагульского сражения узнал он в городе Орле сторожа, служившего на той славной битве рядовым; остановил его, назвал по имени и поцеловал».

Когда, пред вступлением нашим в Швейцарию, прибыл в армию генерал-майор граф Николай Михайлович Каменский, то он пожаловал ко мне и просил меня представить его фельдмаршалу. Мы пошли к нему. Дорогою заметил я в графе смущение; он не скрыл от меня своего опасения, [8] что, может быть, по известным всем бывшим между Александром Васильевичем и отцом его неприятностям, не удостоится он благосклонного приема. Я засмеялся, сказав ему: «Худо, граф, знаете вы Суворова: но вы тотчас разуверитесь». Едва лишь произнес имя графа Каменского, как он уже обнял и расцеловал его, с сими словами: «Как! Сын друга моего будет со мною пожинать лавры, как я некогда с отцом его!». Прочитав письмо от его родителя, прослезился и произнес: «Когда ты к батюшке будешь писать, то принеси письмо, я припишу». Мы пошли к обедне. Вдруг с крылоса подбежал граф к Николаю Михайловичу с вопросом: «Поет ли его батюшка?» На ответ, что поет, отвечал он: «Знаю, но без нот, а я по нотам», — и побежал к певчим. По переходе чрез Альпийские горы, когда граф Каменский отличился уже своим бесстрашием, находясь денно и ночно посреди ужасов и от неприятелей, и от стихий, безотлучно впереди своего полка; и пуля пролетела сквозь его шляпу: поднес он [9] генералиссимусу открытое письмо свое к отцу. Тут приписал Суворов между прочим: «Юный сын ваш, старый генерал». Воспоминание о сем драгоценно моему сердцу: ибо на Альпийских горах связан был между знаменитым, навеки незабвенным сим защитником Отечества и мною тот крепкий узел дружества, который не ослабнул и по конец его жизни.

В тот день, когда в городе Нейтитчене завещал мне князь у гробницы Лаудона, сделать на своей надписи: *Здесь лежит Суворов*, беседовал он много о смерти и эпитафиях; также, что он желал бы положить кости свои в Отечестве. «Не помнишь ли, — обратясь ко мне, спросил, — какой памятник был воздвигнут Еврипиду?» К счастью, читал я о том недавно и начал: «Царь Македонский, Архелай, воздвигнул Еврипиду памятник, с надписью: *Никогда память твоя, Еврипид, не угаснет*. Но блистательнейший кенотав в Афинах был сей: *Вся Греция памятник Еврипиду. Земля Македонская покрывает токмо* [10] *его кости*». Он произнес: «Спасибо тебе, что ты помнишь. Еврипид был в мире один, и памятник ему — единственный!»

Болен и *болен*, то есть, с ударением над последним слогом *лен*, различал князь. Просто болен, значило у него истинно изнемогшего, который слег в постель; но болен с ударением над *лен* был, по его мнению, тот, которому нездоровится, которому не так-то по себе, который прихворнул; проклятая мигрень! — И этого он не терпел. Всегда спрашивал о каком-нибудь больном: «Что он: болен или *болен*?» Разумеется, чтоб не рассердить его, ответ был всегда чистым языком: болен, без неприятного ударения. И тут повторял он свой рецепт из словесного поучения солдатам: «Бойся богадельни: немецкие лекарственницы издалека тухлые, бессильные и вредные. Русский солдат к ним не привык. У вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог. Помните, господа! Полевой лечебник штаб-лекаря Белопольского. Богадельни первый [11] день мягкая постель. Второй день французская похлебка, третий день ее, братец, домовище к себе и тащит! Один умирает, а десять товарищей хлебают его смертный дых».

Если князь познакомится покороче с иностранцем, то любил называть его по имени и отчеству. В бытность в Финляндии имел он под начальством своим инженерного генерал-майора, Прево-де-Люмьяна, которому велел называться Иваном Ивановичем; и тот по конец жизни своей слыл сими именами, хотя ни он, ни отец его Иванами не бывали.

Слова: *не могу знать, не умею доложить*, или сказать *полагаю, может быть, мне кажется, я думаю* и все подобное неопределительное, могли его рассердить до чрезвычайности. Один, принадлежавший к дипломатическому корпусу, имел несчастье употреблять сии слова и никак не мог отвыкнуть. Он однажды довел князя до того, [12] что тот велел растворить окошки и двери и принесть ладану, чтобы выкурить и очистить воздух от заразительного немогузнайства, и тут кричал он: «Проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, лукавка, краснословка, двуличка, вежливка, бестолковка, недомолвка, ускромейка. Стыдно сказать, от немогузнайки много, много беды!» Подобная схватка была у него в Молдавии и с генералом Деволантом, который никак не хотел говорить *знаю* о таких вещах, которые ему были неизвестны. Спор у него с Суворовым дошел до того, что он оставил обед и, выскочив из окошка, убежал к себе на квартиру. Вслед за ним гнался Александр Васильевич, догнал его, примирился и сделался другом. Деволант был голландец. Суворов после того говаривал: «Теперь вижу я, почему испанский, Непобедимым названный, флот Филиппа, не мог устоять пред таким упорно грубым народом, каков голландский. И Петр Великий ощутил то». [13]

Лорд Клинтон, отличного ума Великобританец, обедал у Суворова. В тот день обед начался в 9 часов пополудни. Повару приказано изготовить блюда к этому времени, с тем замечанием, что англичане обедают поздно. Граф, как говорится, был совершенно в своей тарелке. Беседовал весьма приятно и поучительно о важных военных исторических предметах и восхитил Клинтона. На другой день посетил сей меня и принес показать письмо к другу своему в Лондоне. Так как я по-английски не знаю, то просил его перевести. Он кое-как передал мне на французский язык, и я с дозволения его положил на бумагу. Вот содержание оного: «Сей час выхожу я из учнейшей Военной академии, где были рассуждения о военном искусстве, о Аннибале, Цезаре, замечания на ошибки Тюреня, принца Евгения, о нашем Малборуке, о штыке, и пр. и пр. Вы верно хотите знать, где эта Академия и кто профессеры? Угадайте! ... я обедал у Суворова: не помню, ел ли что, но помню с восторгом каждое его слово. Это наш Гарик, но на [14] театре великих происшествий; это тактический Рембрандт: как тот в живописи, так сей на войне — волшебники! Боюсь только, чтобы он не занемог нашим сплином: но от богатства побед. И этот умнейший муж вздумал меня уверять, что он ничего не знает, ничему не учился, без воспитания и что его по справедливости называют Вандалом. Наконец остановил я его сими словами: «Если вам удастся обманывать нас, ваших современников, то не удастся обмануть потомков; впрочем, и в самом потомстве останетесь вы Иероглифом». Он замолчал, начал корчить лицо, кривляться, делать невероятные гримасы, и проч». — Я отважился прочесть Графу сию выписку, и он отвечал: «Ах! Помилуй Бог, кто бы подумал, что и добрый Клинтон был у меня шпионом? Сам виноват, слишком раскрылся: не было пуговиц».

Портрет Суворова написан был Миллером. Он готовился уже отвезти в Дрезден; но был в недоумении, показать [15] ли его тому оригиналу, который никогда не хотел видеть себя и в зеркале, или, как г. Миллер изъяснялся, не хотел видеть и в копии другого Суворова. Я присоветовал ему пойти со мною и показать ему. Мы пришли. Князь, едва взглянув,



спросил: «Полезны ли вам были психологические мои рассуждения о самом себе?» — «Очень! — отвечал тот, — для начертания характеров пригодно все, и даже мелочи. Толпою не замечаемые черты делаются для артиста, изобретателя души в теле, весьма важными. Счастливо перенесенные на холст, они дают портрету всю физиономию. До сего невдохновенный художник никогда не достигает. Рубенс, по справедливости провозглашенный князем Нидерландской школы, изобразил смеющееся дитя. Один миг волшебной его кисти — и дитя, к изумлению всех предстоящих, плачет. Я не Рубенс! Но он бы первый раз позавидовал теперь моему счастью!» Граф поцеловал его от души и велел мне записать: «Рубенс, Миллер! — слава творческому Гению живописи». «Эти слова, — сказал Миллер [16] в исступлении, — из уст Суворова дают бессмертие!»

Разговорились за обедом о трудностях узнавать людей. «Да, правда, — сказал князь Александр Васильевич, — только Петру Великому предоставлена была великая тайна выбирать людей: взглянул на солдата Румянцева, и он офицер, посол, вельможа; а тот за сие отблагодарил России сыном своим, Задунайским. Мои мысли: вывеска дураков — гордость; людей посредственного ума — подлость; а человека истинных достоинств — возвышенность чувств, прикрытая скромностию».

По возвращении моем из Венеции отдал я фельдмаршалу в его кабинете отчет в моих поручениях. За обедом расспрашивал он меня о многих подробностях сего чудесного, единственного в свете, как будто из волн морских возникающего, града. Я рассказывал ему все, что в течение трех дней мог заметить любопытного. Он [17] вздохнул, вспомнив о прежнем величии сей Царицы морей, о блеске ее торговли; но благодарил Бога, что адская политическая инквизиция поглощена ее же волнами. Между многими рассказами упомянул я, как там в трактире (Caza di Pedrillo), за общим обеденным столом, поразил меня сосед сими словами: «Chez nous a Petersbourg», т.е. у нас в Петербурге. Не полагая никак увидеть здесь русского, я вскрикнул с исступлением по-русски: «Как! Вы были в Петербурге?» Ответ его: «Я там родился». «Этого довольно, — продолжал я, — теперь знаю, хотя вы мне и не были знакомы, что вы гуляли там со мною по гранитной набережной, в Летнем саду, по островам, пили со мною невскую воду, слышали со мною тот же колокольный звон, тот же барабан и, объехав, как и я, множество городов, скажите также со мною вместе: «Нет краше матушки Москвы и Петербурга!» Не дождавшись ответа, бросился я его обнимать; искренность взаимных чувств наших нас тотчас сблизила, и теперь оба мы перестали жить в Венеции. Граф тут с [18] удовольствием вспомнил, как в молодых годах, быв отправлен в Берлин курьером, встретил он также в Пруссии русского солдата. «Братски, с искренним патриотизмом, — говорил он, — расцеловал я его; расстояние состояния между нами исчезло. Я прижал к груди земляка. Если бы Сулла и Марий встретились нечаянно на Алеутских островах, соперничество между ними пресеклось бы; патриций обнял бы плебеянина, и Рим не увидел бы кровавой реки».

Когда фельдмаршал, по взятии австрийским генералом Кеймом Турина, возносил его хвалами и пил за его здоровье, один его земляк, из знатнейшей древнейшей фамилии, сказал: «Знаете ли, что Кейм из самого низкого состояния и из простых солдат дослужился до генерала?». «Да, — отвечал Александр Васильевич, — его не осеняет огромное родословное древо; но я почел бы себе особенною великою честью иметь его после сего подвига своим, по крайней мере, хотя кузином». [19]

Случился у Суворова спор о летах двух генералов. Одному было действительно пятьдесят

лет, а другому сорок. Но Александр Васильевич начал уверять, что сорокалетний старее пятидесятилетнего. «Последний, — говорил он, — большую часть жизни своей проспал; а первый работал на службе денно и ночно. Итог выйдет, что чуть ли сорокалетний не вдвое старее пятидесятилетнего». «По этому расчету, — сказал маркиз Шателер, — Вашему сиятельству давно, давно уже минуло за сто и более лет». «Ах, нет! — отвечал Суворов, — раскройте Историю, и вы увидите меня там мальчишкою». «Истинно великие хотят всегда казаться малыми; но громкая труба молвы заглушает их скромность», — возразил Шателер. Суворов зажмурился, закрыл свои уши и убежал.

Непонятно, как человек, привыкший по утрам окачиваться холодной водою, выпарившись в бане, бросаться в реку или в снег, не носивший никогда шубы, кроме мундира, куртки и [20] изодранной родительской шинели, — мог в горнице переносить ужасную теплоту. В этом походил князь Александр Васильевич на наших крестьян в избах. Подобно им, любил и он быть в полном *неглиже*. Я, а со мною и многие, страдали в его теплице. Нередко пот с меня так и катился на бумагу при докладах. Однажды закапал я донесение, хотя по содержанию своему не очень ему приятное. «Вот, Ваше сиятельство, я не виноват, — сказал я ему, — а ваша Этна», указав на печь. «Ничего, ничего, — отвечал он. — В Петербурге скажут или что ты до поту лица работаешь, или что я окропил сию бумагу слезою. Ты потлив, а я слезлив». Так же и австрийский генерал-квартирмейстер Цах распалился до того, что, работая с ним в кабинете, снял с себя галстух и мундир. Фельдмаршал бросился его целовать с сими словами: «Люблю, кто со мною обходится без фасонов». «Помилуйте, — вскрикнул тот, — здесь можно сгореть». Ответ: «Что делать? Ремесло наше такое, чтоб быть [21] всегда близ огня; а потому я и здесь от него не отвыкаю».

Государыня Императрица Екатерина, узнав, что Суворов ездит и ходит в ужасные трескучие морозы в одном мундире, изволила, для сбережения его здоровья, подарить ему пребогатую черную соболью шубу. Он принял сей дар Монаршего благопризрения с должным благоговением; возил с собою в карете, держа со всякою бережливостью на коленях; но никогда не дерзал возлагать на грешное свое тело, как он отзывался о себе по христианскому смирению.

При вступлении войск наших в Варшаву дан был приказ: «У генерала Н.Н. ... взять позлащенную его карету, в которой въедет Суворов в город. Хозяину сидеть насупротив, смотреть вправо и молчать, ибо Суворов будет в размышлении». (Надобно знать, что хозяин кареты слыл говоруном.) [22]

Некто вздумал назвать Суворова поэтом. «Нет! Извини, — возразил он, — поэзия — вдохновение; а я складываю только — вирши».

Говорили об одном военачальнике, которого бездействие походило на трусость. Граф тут сказал: «Нет, он храбр; но бережет себя, хочет дожить до моих лет».

Генерал-Квартирмейстер Цах, говоря о Карле XII, назвал его Донкишотом. «Правда, — сказал граф, — но мы, любезный Цах, донкишотствуем все (*mir alle donquischotienen*), и над нашими глупостями, горебогатырством, платоническою любовью, сражениями с ветряными мельницами, также бы смеялись, если бы у нас были Сервантесы. Я, читая сию

книгу, смеялся от души; но пожалел о бедняжке, когда фантазмагория кукольной его комедии начала потухать пред распаленным его воображением, и он наконец покаялся, хотя и с горестию, что был дурак. Это [23] болезнь старости, и я чувствую ее приближение». Цах при сем случае рассказал анекдот, что когда у знаменитейшего ученостию Медика, Сиденгама, при кончине его, просил другой доктор совета, какую книгою ему при лечении руководствоваться, отвечал он: «Читайте Донкишота».

Из всех отраслей военного искусства преимущественно любил князь Александр Васильевич инженерную науку. Посему Великая Екатерина и поручила ему построение и поправление крепостей в Финляндии. Вобана знал он почти наизусть, и вот причина, как он говорил: «Покойный батюшка перевел его, по Высочайшему повелению Государя Императора Петра Великого, с французского на российский язык, и при ежедневном чтении и сравнении с оригиналом сего перевода изволил сам меня руководствовать к познанию сей для военного человека столь нужной и полезной науки». Книга сия сделалась теперь [24] очень редкою; я видел ее в рукописи; заглавие ее:

ПРЯМОЙ

СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ГОРОДОВ,

Изданный

От славного Инженера

*Вобана,*

На Французском языке.

Переведен на Российский язык

1724 года.

Переводчик, говоря в предисловии о важности и пользе сей книги, заключает следующими словами: «Сих убо ради вин Петр Великий, Император и Отец Отечества, егда восприя сию книгу, на французском языке изданную, многопользную и другим несравненную, возымел намерение, да сея пользы российский свет не лишен будет, повеле из французского языка на Российский преложити, яже и преложена есть Василием Суворовым». [25]

Нежность в обращении генералиссимуса с пленными генералами была примерная. Возвращая генерала Серрюрье, нынешнего маршала Франции, из плена в Париж, наговорил он ему множество вежливостей. Тот, описывая в журналах свое с генералиссимусом в Милане свидание, отзывался об нем с восторгом. Узнав также, что генерал Лекурб был женат, вручил он ему при отпуске его из плена на Альпийских горах цветок, прося его поднести оный, от имени его, супруге своей. Цветок давно увял; но чувство благодарности за таковое внимание в благородном сердце не стареет и не истлевает. Лекурб показывал в 1813 году оный, как нечто священное, генерал-майору Ф. Ф. Шуберту, бывшему при армии нашей во Франции полковником по квартирмейстерской части.

Странности, особенности или так называемые причуды, делали князя загадкою, которая не разрешена еще и поныне. Беспреданно спрашивали и спрашивают меня: зачем наложил он [26] на себя такую личину? И ответ мой был тот, какой и теперь: не знаю. Всегда поражало, изумляло меня, как человек наедине умнейший, ученейший, лишь только за порог из своего кабинета, показывается шутком, проказником или, если смею

сказать, каким-то прокаженным. Он играл с людьми комедию и на сцене резвился, а зрители рукоплескали. Однажды, вышед из терпения, отважился я спросить его, что все это значит? «Ничего, — отвечал он, — это моя манера. Слышал ли ты о славном комике Карлене: он на Парижском театре играл арлекина, как будто рожден арлекином; а за кулисами и в частной жизни был пресерьезный и строгих правил человек: ну, словом, Катон!» И, чтобы пресечь разговор, приказал мне идти с поручениями к генералу от кавалерии Вилиму Христофоровичу Дерфельдену.

В Варшаве поутру явилось к победителю многочисленное собрание. Одна знатная, польская, редкой красоты дама, отлично уважаемая, стояла в толпе. [27] Он тотчас бросился к ней с сим восклицанием: «Что вижу я? о чудо из чудес! На прекраснейшем небе два солнца!» Протянул два пальца к ее глазам, и ну ее целовать. После сего, на парадах, на балах, везде казалась она ему и возносила его. Александр Васильевич доказал сим, что он знал дамское сердце, и знал, кому сделать такое приветствие.

Дюк де-Полиньяк приходит в Варшаве к Суворову и велит тотчас о себе доложить. Занятый делами, фельдмаршал, желая дать ему почувствовать такую нетерпеливость, не выходит более часа из своего кабинета. Вдруг выбегает с криком, нагнувшись, придерживая свой живот: «О проклятая колика! Она с час задержала вас. Как мне это больно». И начал с ним разговаривать при многочисленном собрании. В продолжение разговоров, Полиньяк плюнул в платок. Тут отскочил от него граф; начал кричать, харкать, плевать на пол. Прощка тотчас подал чистый платок Дюку, а заплеванный взял в [28] мытье. Подполковник Тищенко окуривал его кадильницею с ладаном со всех сторон. Равнодушная при сей церемонии неподвижность Полиньяка столько понравилась графу, что они после сблизилась.

Подымаясь на Сен-Готард с последним напряжением сил, увидели мы вдруг возвышающееся на ледовитой, снежной вершине ужасной горы сей здание. Сердце у каждого из нас встрепенулось от радости. Мы как будто увидели предел нашему, уже истощающемуся, утомлению. Здесь тот капуцинский монастырь, где иноки, посвятившие себя Богу, дают убежище странникам, отыскивают в пропастях, с помощью чутья приученных своих собак, замерзших, отогревают и оттаивают тела их и нередко возвращают им жизнь. Мы были встречены настоятелем и братиею сей, толикими Богоугодными делами освященной обители, в церковном их облачении. Настоятель, семидесятилетний маститый старец, украшенный сединами и длинною [29] бородою, с огненными блестящими очами и благоговение вдыхающим челом, приглашал престарелого, изнемогшего нашего вождя в келью для отдохновения. «Нет! Святой отец, — воскликнул он, — я и все сии мои дети, подвизающиеся за алтарь Господень, томимся голодом; но веди нас во Храм, да воспоем хвалу Спасшему нас! а потом уже в трапезу». Молебствие началось; и кто из нас не пролил с отцом нашим, преклонившим колена, чистых слез благоговейного глубочайшего благодарения Тому Неисповедимому, Которого десница вознесла нас из пропастей на сей верх столба — небесного, лучезарного балдахина Своего. В трапезе блюда с картофелем и горохом и какая-то рыба пресытили нас лучше всех пряностей обеих Индий. И какое зрелище!.. Два старца, Суворов и приор, сблизилась :сердцами, как будто бы они вместе состарились и поседели, беспрестанно друг друга обнимали. Кроткий священнослужитель разговаривал с ним то по-немецки, то по-французски и по-итальянски. Вдруг пришла Александру Васильевичу мысль заставить меня говорить [30] по-латыни. Кое-как, жалким слогом на сем мертвом языке проговорил я несколько слов; а чтобы скрыть свои недостатки, вздумал отыгаться стихом из Энеиды, казавшимся мне приличным нашему положению. Память мне не изменила — вот он:

Per varios casus, per tot discrimina rerum Tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas ostendunt.

Т.е.

Мы сквозь грозу толиких напастей тропу пробиваем В Лациум, где нам судьбы покойную жизнь указуют.

Где я остановился, там ученый муж начал продолжать несколько стихов и показал, что он юность свою, более нежели я мою, согревал под пиитическим, ярким солнцем Вергилия. В продолжение разных разговоров, рассказывал приор, что по летописям монастырским, русские, почти полтора столетия назад, посетили Сен-Готард \*. «Итак, — отвечал граф, [31] — мы ступали по следам давно в Бозе усопших прадедов наших. Не осталось ли здесь из них умершего; мы бы воспели ему вечную память». «Нет», — отвечал приор. К концу обеда начал Александр Васильевич возносить похвалами человеколюбивые подвиги сих монашествующих и сожалеть, что они беспрестанно подвергаются несчетным трудностям и опасностям. «Не жалеете о нас, благодетельный герой, — прервал речь его приор. — Нередко стакан воды жаждущему, кусок хлеба голодному, утешительное слово горящему, несколько капель лекарства больному приобретали нам доверенность и любовь спасенного, и делали нас его благодетелями. А с чем сравнится душевная радость, какую мы ощущаем, когда видим мало-помалу оттаивающего, оживающего замерзшего. Тогда [32] все трудности, все опасности забыты. Мы повергаемся пред Престолом Творца, сподобившего нас быть орудием Своей благости — воскрешать. Тогда и эти самые обнаженные скалы, и бурные стихии, и вся мертвеющая здесь природа являются нам бесстрашными, прелестными». Тут, с изливанием сердечных чувств, воскликнул Суворов: «Нет, вы истинно великие Христианские Герои, не щадящие живота для спасения страждущего человечества. Вашему сердобольному благопризрению вверяю я своих братьев, погибших в ваших пропастях. Вы, вознесясь над земным, близки и душою вашею, и обителью к небесам. Бог да хранит вас!» Войско, отдохнув, укрепив себя пищею, низвергло с молитвою в новые зияющие пучины.

\* См. IV часть Древней Российской Вивлиофики, главу 6: Статейный список посольства Дворянина и Боровского Наместника, Василия Лихачева, во Флоренции, в 7167 (1659) году. В любопытном журнале сего, отправленного Царем Алексеем Михайловичем, посольства, сказано между прочим следующее: «Марта во 2-й день стан был в гостинице в селе Роле (Ролле), в швейцарской земле; а ехали между превеликих высоких гор, а доехали до высоких снежных гор Сангутары (Сен-Готар). Тут жили три дни по великое заговенье; а жили для того, что делали чрез те горы дорогу; а по наш приезд чрез ту гору Сангутар, никто не бывал»

Князь Александр Васильевич не мог увидеть бедного или нищего, чтобы не сделать ему подаяния. А так как у него никогда не было при себе денег, и счетов своим приходам и расходам он во всю жизнь не читал, [33] то весьма часто занимал у предстоявших. Однажды, в продолжение обеда, вошел нечаянно в горницу девяностолетний нищий, приходивший ежедневно к хозяйке дома за подаянием. Увидя многочисленное собрание, он испугался и хотел было уйти. Но князь вскочил сам, усадил его и угасивал. Тотчас занял несколько червонцев, велел сделать складчину. Русские щедры — старец со слезами признательности удалился. Тут с чувствительностью произнес он: «Добрые друзья мои! Кто теперь благополучнее, сей ли старец, получивший от нас дары, или мы, подкрепившие болезненную его дряхлость? Тогда только, когда человек простирает на помощь ближнему руку, уподобляется он Творцу. Дивлюсь, — продолжал он, — везде благотворные заведения, а нищета не уменьшается». Но когда у него в другой раз просил милостыни здоровый, то он велел купить ему топор, сказав: «Руби дрова: не умрешь с голоду». [34]

При вступлении войск наших в Италию, итальянцы не выходили никогда из домов своих без кинжалов, спрятанных под плащами, и тотчас при малейшем оскорблении закалывали

на улицах. Фельдмаршал прекратил зло сие немедленно, определив строжайшее наказание тому, у кого найдено будет какое-либо смертоносное орудие. «Меч, — сказал он, — обнажается со славою только на защиту отечества; в руке убийцы или дуэлиста он — позорное орудие трусости».

Суворов ничем так не гордился, как тем, что во всю жизнь свою разбивал везде неприятеля многочисленнейшего, меньшими силами, и всегда говаривал: «В Александре великое было то, что он малою силою истребил миллионы персов». Зато не сердился так много, как когда в периодических сочинениях ложно увеличивали его войско, а неприятельское уменьшали. И в сем не прощал он и Дюмасу, издателю *Precis des evenements militaires* (*Обозрение военных событий (фр.)*). Тотчас продиктовывал с жаром в заметке [35] возражение для помещения в газетах. «У этого наемника историка два зеркала: одно увеличительное для своих, а уменьшительное для нас. Но потомство разобьет вдребезги оба, а выставит свое, в котором мы не будем казаться пигмеями».

В Праге, в Богемии, прихожу я после обеда к генералиссимусу с бумагами и слышу, что он очень громко с кем-то разговаривает по-немецки. Чтобы не нарушить беседы, подождал я с час; наконец вхожу и вижу его, беседующего с раненым сидящим австрийским солдатом. Он расцеловал его и отпустил. «Это, — обратясь ко мне, — гуссит, или теперь называющийся Богемский брат (*Bohemischer Bruder*). Давно желал я подробнее узнать о сей секте. Он пересказывал мне словесные предания о сожженном в Костнице, по приговору тамошнего Собора, основателе их учения Иоанне Гуссе, и о многих любопытных обстоятельствах и гонениях, которые они потерпели за свою веру. Я благодарю теперь Бога, что никогда [36] такая реформационная горячка не посещала нашего Отечества: всегда религия была у нас во всей чистоте, и кто не знает, что Сын Божий никогда не повелевал мечом или огнем насильственно крестить жидов или язычников? И в Турции, в праздном моем уединении, заставлял я толковать себе Алкоран и увидел, что Магомет пекся не о царствии небесном, а о земном. Нам предоставлено увидеть новый, также ужасный, феномен: политический фанатизм!!! Но на чужбине, прибавь. Мы теперь отзываемся в Отчизну. Спокойствие — удущье. Так тишина на море бывает предвестницею бурного урагана. Так тлеющий под пеплом уголь угрожает сокрушить все пламенем. Запиши последнее для графа Федора Васильевича Ростопчина». Так предугадывал он бедствия, постигшие Германию от войн с Франциею!

Когда его в Линдаве поздравляли с переходом чрез Альпийские горы, отвечал он: «Бог помог нам [37] одолеть их и пройти сквозь громовые тучи. Но поможет ли нам отвести громовые удары, устремленные на Престолы?.. Его Святая воля!»

Сказали графу в Италии об одном достойном офицере, помешавшемся в уме. Он сему не поверил и начал спорить. После открылось, что он разумел другого, и тогда сказал: «Ну, теперь вижу, что ошибся; а готов был спорить до завтра, — и вот причина: тот, которого я разумел, не имеет у себя того, что сей потерял. Жаль! Но время ли теперь сходить с ума, когда и вся война — хаос?»

Один доктор советовал князю съездить на теплые воды. «Помилуй Бог! Что тебе вздумалось? Туда посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков, интригантов и всякую сволочь. Там пусть они купаются в грязи, — а я истинно болен. Мне нужна молитва, в деревне: изба, баня, кашлица и квас». [38]

Рассматривая причуды простолюдинов, которые князь себе присваивал, нельзя не согласиться, что он сие делал, чтобы, уподобляясь простым солдатам, выигрывать их любовь; в чем он и успевал. Как можно поверить, чтобы человек, с его просвещением, образованностью, начитанностью, с необыкновенным его умом, мог искренно требовать таких странностей, как например: чтобы никто из солонки у него за столом не брал соли ножом; а Боже избави! Если бы кто подвинул солонку к своему соседу или ему ее подал; каждый должен был отсыпывать себе на скатерть соли, сколько ему угодно, — и многих тому подобных. Развязку сему вижу я, кажется, в одном его разговоре: «Александр Македонский не сжег, — говорил он, — Афин для того, чтобы в тамошних гостиницах говорили о его гаерствах; пусть же и в солдатских артелях смеются над моими солдатскими проказами!» И подлинно, каких небылиц об нем там не услышишь! [39]

Доложили князю, что пришел портной для снятия с него мерки мундиру сардинского генералиссимуса. Он тотчас спросил: «Какой он нации? Если он француз, то я буду говорить, как с игольным артистом; если немец, то как с кандидатом, магистром или доктором мундирилогического факультета; если итальянец, то как с маэстро или виртуозе на ножницах». Когда узнал, что итальянец, то сказал: «Тем лучше; я не видал итальянца, хорошо одетого: он сошьет мне просторный мундир, и мне будет в нем раздолье». — Мундир сей был великолепнейший, синий, по всем швам золотое шитье.

Князь отменно чтит память великого преобразователя России, Петра Первого. Говоря однажды с восторгом о неумолимо-деятельной его жизни, о многих его творениях по военной, сухопутной, морской и гражданской частям, спросил, кто из нас был на Ладожском канале. На ответ, что никто не был, сказал он: «О ! так вы не [40] видали Его монумента. Я счастливее вас: я на месте удивлялся сему редкому, чудесному смертному; как такие сверхчеловеческие силы вмещались в голове необразованной, по словам беллетристов, ученым воспитанием. Здесь Полтавский герой благотворною десницею мирно соединяет две отдаленные бурные реки. Природа пугается его; гласу его повинуется вода; течет, куда он указывает, и несет на себе в столицу сокровища благодатной России. Вот куда надобно съездить Державину: водопад — чудо природы, — здесь чудо искусства!»

Граф Федор Васильевич Ростопчин был обожателем Суворова, что доказывает его с ним переписка, в изданной мною Истории помещенная; и в письмах своих ко мне отзывался он всегда об нем с величайшим восторгом. В одном пишет он ко мне: «Участь ваша завидна; вы служите при великом человеке. Румянцев был Герой своего века, Суворов Герой всех веков». Я прочитал сие князю. «Нет! [41] Отвечай ему, — сказал он, — Суворов ученик Румянцева».

Граф любил, чтобы каждого начальника подчиненные называли по-русски, по имени и отчеству. Присланного от адмирала Ушакова иностранного офицера, с известием о взятии Корфу, спросил он: «Здоров ли друг мой Федор Федорович?» Немец стал в тупик, не знал: о ком спрашивают. Ему шепнули, что об Ушакове. «Ах! Да! — опомнился он, ~ господин адмирал фон Ушаков здоров». Фельдмаршал сказал ему с гневом: «Возьми к себе свое *фон*; раздавай, кому хочешь; а победителя турецкого флота на Черном море, потрясшего Дарданеллы и покорившего Корфу, называй Федор Федорович Ушаков».

Говорили об одном хитром, проницательном министре. «Ну, так что же? — сказал князь, — я его не боюсь. О хамелеоне знают, что он хамелеон: принимает на себя все цветы, кроме белого». [42]

Князь никогда не отказывался от рекомендательных писем для достойных людей. Одно поднес я к подписанию. Он подписал охотно и с удовольствием и, возвращая, сказал: «Я написал бы иначе, а вот как: лицо его, вывеска доброй души его, есть лучшая рекомендация». Он душевно любил тогдашнего полковника С. С. Кушников и имел к способностям его особенную доверенность. Также не отпустил он из армии в Петербург без рекомендательного письма к государю императору достойного полковника М.С. Вистицкого.

В Пиаченце один маркиз, хозяин дома, в котором поместился граф, был истинный чудак. В шитом розового цвета кафтане, с громким хохотом не говорил, а кричал он беспрестанно о погоде и повертывался, чтобы показать свой камергерский ключ. Граф, желая от него отделаться, начал перед обедом читать: *Отче Наш...* а чудак, не понимая, стал аплодировать и кричать: «Браво! Браво!» — Суворов остановился [43] в молитве, обратился к нему и сказал: «Молчание, я молюсь Богу». Кое-как мы его выжили. За столом просил фельдмаршал: «Ради Бога, спасите меня от этого гостя, который хуже татарина. Он измучил меня метеорологическими своими разговорами, показывал мне ключ, который не отпирает и не запирает, и верно из неблагородного металла, прикрытый золотом, как и он — шитым своим кафтаном».

При подписании письма к адмиралу Федору Федоровичу Ушакову в Корфу приписал граф что-то премелко, чего я не мог разобрать. «Не надседайся, — сказал он мне, — это на турецком языке поклон турецкому адмиралу». После, при свидании, уверял меня Федор Федорович, что турок, прочитав сии строки, восхищался и не хотел верить, что их написал так правильно русский.

Князь Александр Васильевич любил иногда нюхать табак из малой [44] своей золотой табакерки, уверяя, что сие облегчает головную его боль. Иногда, посыпав табаком какой-нибудь душистый цветок, снюхивал с него и с восторгом говорил: «Вот роскошь!» Но курения табака не жаловал. «Может ли быть, — говорил он, — что неблагопристойнее, как когда под нос тебе подставят трубку и окуривают тебя зловонным фимиамом?» Однажды увидел он курящего гусара. Ему хотели было запретить; но он крикнул: «Не трогайте его; он человек с талантом: выкуривает трубку мастерски. Он на войне видит дым батальонного огня». И поскакал от него прочь.

Разговаривая о музыке, один генерал делал свои замечания, что надлежало бы уменьшить число музыкантов и умножить ими ряды. «Нет, — отвечал князь, — музыка нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая. Она веселит сердце воина; равняет его шаг; по ней мы танцуем и на самом сражении. Старик с большею бодростью бросается на смерть; молокосос, [45] отирая со рта молоко маменьки, бежит за ним. Музыка удваивает, утроивает армию. С Крестом в руке священника, с распущенными знаменами и с громогласною музыкою взял я Измаил!»

По прибытии в армию фельдмаршала, узнал он, что французский главнокомандующий



Шерер сдал свое начальство генералу Моро и удалился в Париж. «И здесь вижу я, — сказал он, — перст Провидения. Мало славы было бы разбить шарлатана. Лавры, которые похитим у Моро, будут лучше цвести и зеленеть».

Отличительное в князе было то, что, проказничая, если смею сказать, был он всегда серьезен и никогда не улыбнется, как будто бы все это в порядке вещей. В Праге, например, пустился он в танцы; люди вправо, а он влево, такую затеял кутерьму, суматоху, штурм, что все скакали, прыгали и сами не знали куда. По окончании танцев подбежал он ко мне и с важностью сказал: «Видел ли ты, как [46] я восстановил порядок; забыли курс, шен, шассе». — «Как же! Видел, — отвечал я, — как вы восстановили шассе». И он побежал от меня.

На возвратном пути из Швейцарии в Россию, на святках,, в Праге, провел князь время очень весело. Он завел у себя на банкетах святочные игры: фанты, жмурки, жгуты, пляски и проч. Мило было смотреть, как престарелый, седой военачальник бегал, плясал, мешался в толпе своих подчиненных и с какою точностью исполнял то, что ему назначалось делать, когда его фант был вынут. Все знатнейшие богемские дамы, австрийский генерал граф Беллегард, английский посланник при венском Дворе лорд Минто и множество иностранных, путались в наших простонародных играх. Мы все восхищались, были в то время, как будто на родине. Но это была последняя песнь лебедя на водах Меандра: в Кракове ожидали его немощи и телесные, и душевные, ускорившие кончину знаменитой его жизни. [47]

Знаменитость подвигов героев веков греческих и римских одушевляла военачальника нашего к тем высоким идеям, которые украшали его жизнь. Беседовать о их славе была его страсть. Вычерпну только каплю из океана. Одаренный счастливою, необыкновенною памятью, он часто пробегал мысленно галерею сих великих бессмертных и пред каждым изливал свои мысли. Так, остановясь на Эпаминонде, произнес: «Чту его за его смелость и твердость». «Хорошо, — сказал он, когда его осудили на казнь, — я заслужил смерть; но иссеките на камне моем: *Фивяне казнили Эпаминонда за то, что он научил их побеждать при Левктре спартанцев и, даровав Греции свободу, сим низложил гидру злобы, на него устремленную*». «Он, достойно подражания, не лгал ни в безделице, ни в деле, ни в шутках, и заслужил от Историков \* своих хвалу, что никакой порок не запятнал его». [48]

\* См. Корнелия Непота

По прибытии в армию генерал-лейтенанта Ребиндера, назначенного комендантом в Мальту, фельдмаршал встретил его сими словами: «Здравствуй, друг Ребиндер; ты поплывешь на тот остров, где некогда Калипса хотела хитрого Улисса уловить в свои сети. За тебя я также не боюсь: у тебя не устоит и железная клетка. (Ребиндер был необыкновенный силач.) Ты, наш Голиаф, будешь стоять с храбрыми своими рыцарями на той неприступной Средиземного моря скале, которая несколько веков издевалась над турецким колоссом и была щитом Христианству. Но прежде оставайся с нами; сперва побьем здесь безбожных». Генерал Ребиндер отличился в Италии и Швейцарии, как то известно из реляций и из моей Истории.

С дамами был князь забавно учтив. Он следовал наставлению лорда Честерфильда сыну своему: хвалить прелести каждой дамы без изъятия. И он, беседа с ними, уменьшал всегда их годы. Так, когда в Милане одна тридцатилетняя [49] Дюшесса представила ему

двенадцатилетнюю свою дочь, притворился он, будто не верит. «Помилуйте, сударыня, — сказал он, — вы еще сами молоденькая, прелестная девушка». Когда он узнал от нее, что она с мужем в разводе, то вскрикнул: «Я еще не видал в свете чудовища; пожалуйте, покажите мне его».

Генерал от кавалерии В.Х. Дерфельден, тридцатипятилетний знаменитый Суворова соратник, беседуя с ним, описывал ему прелести и роскоши итальянской природы живыми красками. «Правда, друг мой, — отвечал граф, — климат прелестен, но разврат страшен!» и тотчас продиктовал следующую заметку: «Под всяким другим умеренным небосклоном воздержание есть добродетель; но оно чудо из чудес здесь, где дышат воздухом между огнеизрыгающею Этною и знойными, горячими ее окрестностями, которые Сифакс, в Адиссоновом Бруте, изображает с такою силою; здесь, под таким огненным небесным поясом, [50] где солнце раскаливает скалы в известь и где не кровь, а купорос и кипучая сера стремительно разливается по жилам; здесь, где природа заманивает к неге в очаровательном саду своем; здесь, сыны Севера, крепитесь, мужайтесь, одолевайте климат и помните Аннибалово войско в Капуе!»

Я поднес графу от одного генерала просительное письмо об определении его в армию, написанное прекрасным, отличным слогом, так что не мог ему сего не заметить. «Да, хорошо написано, — сказал он, — но мне нужны воины, а не министр. Мой Багратион так не напишет; зато имеет присутствие духа, расторопность, отважность и счастье. Ум его образован более опытами, нежели теориею. В беседе с ним его не увидишь. Но он исполняет все мои приказы с точностию и успехом. Вот для меня и довольно».

Один принц обедал у генералиссимуса и удивил его и нас всех своим [51] аппетитом. Всякое блюдо, так сказать, им пожиралось и исчезало. Князь смотрел с изумлением. На другой день не мог он позабыть сего посещения и сказал: «Ну, спасибо Его Светлости; он первый изволил отдать справедливость искусству повара моего, Мишки: ел, как будто у него нет желудка. Он не подходит под Указ Петра Первого об отпуске прожорам двух пайков, для него мало и четырех». Через несколько дней вздумали подшутить и сказать князю, что принц опять угрожает стол его своим посещением. «Напрасно Светлейший изволит беспокоиться, — я его видел. С ним надобно выкинуть пословицу нашу: не будь гостю запасен, а будь ему рад».

Князь всегда говаривал, что у него семь ран: две, полученные на войне, а пять — при Дворе, или политические. И сии пять, по его словам, были гораздо мучительнее первых.

Все начальствовавшие армиями получали при императрице Екатерине в мирное время генерал-губернаторские места, [52] как-то: граф Румянцев-Задунайский, князь Потемкин-Таврический, граф Салтыков и другие. В рассуждении Суворова велено было его спросить, какие губернии он пожелает. Ответ его был следующий: «Я знаю, что матушка-царица слишком любит своих добрых подданных, чтобы мною наказать какую-либо свою провинцию. Я размеряю силы свои с бременем, какое могу поднять. Для другого не вмоготу фельдмаршальский мундир». После сего отзыва был он пожалован подполковником лейб-гвардии Преображенского полка и сие отличие принял с благовейною признательностию.

Граф приказал мне читать Сюллия записки. Я уверял его, что читал их и делал даже выписки по велению государыни императрицы Екатерины, по бытности моей при особенной дипломатической ее переписке, под начальством князя Безбородко. «Этого мало, — говорил он, — мы будем читать опять, твердить наизусть век Генриха. Сцена переменилась. Новые актеры, [53] новые ужасы. Но Франция существует». Я достал книгу сию в Турине; он ее взял, читал и вдруг ночью присылает за мною с повелением сказать мне, что имеет сообщить нечто мудрое. Я являюсь: он меня сажает; перо, чернила и лоскуток бумаги на столе. «Переведи поскорее сию бесценную статью великого друга и наставника царей, Сюллия», — указав мне место. Я принялся за перевод. Так как у меня лоскуток тот сохранился, то для любопытства помещаю его здесь. «Причины падения и ослабления монархий, — говорит Сюлли в записках своих, — суть: непомерные налоги, особливо единоторжие хлебом; незаботливость о торговле, хлебопашестве, художествах и ремеслах; слишком великое число чиновников и издержки на содержание их; неограниченная власть тех, которые занимают места в государстве; значительные расходы; медленность и неправосудие в судопроизводствах; праздность и расточительность, со всеми принадлежащими к ним развратом и порчею нравов; запутанности в соотношениях присутственных [54] мест между собою; переделка монеты; неблагоприятные и незаконные войны; слепая доверенность к недостойным лицам; предубеждения в пользу некоторых только сословий и ремесел; корыстолюбие министров и их любимцев; презрение к ученым; терпимость худых обычаев; нарушение хороших законов; упорная привязанность к маловажным или вредным обыкновениям; множество друг другу противоречащих постановлений и бесполезных узаконений». Кончив, отпустил он меня с извинением, что исторг меня из объятий Морфея. Я поклонился, ибо это не в первый раз.

На походе нашем к Турину, выехал оттуда навстречу Суворову бывший той столицы королевский генерал-губернатор, граф Сент-Андре, муж, почтенный сединами и опытами долговременного служения Сардинскому престолу. Александр Васильевич обрадовался такому полезному приобретению; тотчас выбежал к нему с сими словами: «Я отдаюсь вам; будьте моим [55] ментором. Покажите мне Италию, сие наследие славы двух столетий, которой потомки должны идти по неизгладимым никогда следам их героев-предков. Я вижу шестнадцать миллионов жителей, разделенных между собою различными законами, обычаями, закоренелою народною ненавистью. Да будет между ими политическое единство! Да будут они планетами одного российского и австрийского солнца, один дух, один штык! Вот наш Геркулесов подвиг: поп plus ultra» (*лучше невозможно (лат.)*). Граф Сент-Андре долго не мог опомниться. Наконец произнес: «После всего того, что я слышу, я ваш пленник, ваш раб. Приказывайте мне, великий человек!» Дстойный старец признавался, что он воображал увидеть совсем другого Суворова. Тотчас оба они подружились и составили дальновидные планы. Но политические виды оные испровергли и дали тогдашним делам совсем другое направление.

Старожилы в Новой Ладогe помнят и рассказывают, что князь Александр [56] Васильевич, находясь там полковником Астраханского полка, учредил училище для солдатских детей, на своем иждивении выстроил для оного дом, был сам учителем арифметики и сочинял учебные книги, как-то: молитвенник, краткий Катехизис и начальные правила арифметики. Рукописный молитвенник мне показывали. Можно себе представить, какую любовью платили ему отцы за воспитание детей своих.

Из Петербурга получил я в Богемии, на возвратном пути из Швейцарии в Россию,

сочинение: *Изображение князя Италийского*. Сочинитель, подписавшийся: *Истинно русский*, просил меня убедительнейше поднести оное нашему Герою. Долго выжидал я удобного для сего времени и наконец успел в Праге. Надобно было видеть, какие движения делал князь, когда я читал: то вскочит со стула, то повернется назад, то вскрикнет: ах! ох! ай! ай! Разбой! Караул! и т.п. По окончании просил он всех не верить этой лести; [57] но мы все уверяли его, что сие изображение есть чистое изливание русского сердца. Вот оно:

### *Изображение князя Италийского*

Дух истинного любомудрия наставил его с юных самых лет пренебрегать мнением людей и довольствоваться заключением потомства. Предавшись военной славе, он посвятил ей все: богатство, покой, забавы, любовь и даже родственническое чувство.

Душа, обуреваемая славолубием, могла ли вместить какой-нибудь род нежности? Однако же известно, что он был верный друг.

Суворов похож единственно сам на себя: непоколебим с сердитым нравом; весел даже в глубоких размышлениях; непреклонен в исполнении слова, данного даже врагу; без малейшего чувства к пустым насмешкам, которых он, видно, с умыслом не чуждается, дабы занять вздором внимание зависти и тем отдалить ее пронырства.

От взятия Глогау в Семилетнюю войну и разбития Ламота Курбьера, зари [58] его подвигов, он беспрестанно гремел, до рассыпания им Царства Польского.

Затем Суворов-Рымникский замолк; но сей безвременный покой не должен продолжиться. Покой всеобщий разрушается. Сам ад дохнул на Север.

Уже пожар мятежей все обращает в пепел и грозит Столице слабосильных Кесарей.

Напрасно все почти Скипетры стали на уперти врагу: все везде унывает!

Един Царь бодрствует на пятой доле мира; един, спокойно обозря все концы Своего достояния, со властью сказал: «Да узрят Мой флаг вокруг Европы; а ты, Суворов, вонми прошению князя князей германских и ступай за веру и человечество, за мою и твою славу!»

И Суворов двинулся, как другой Цинциннат, и явился в Италию, как некое Божество, с горстию соотчицей; но с колоссом своих мыслей и дарований.

Минчио, Адиг, Треббия, Нови, Сен-Готард, Тейфельсбрик, Гларис; ты, храбрый и злосчастный Макдональд; вы, столь прежде славные Моро, Жубер, [59] Массена. Довольно вас именовать. Блажен, кто на Суворова не идет!

Суворов достиг предмета и теперь стал превыше всех жребий и времени.

Желал ли он почестей? — он почти обременен ими. Хотел ли одной славы? — он в ней погружен. И проч.

Заметь отличную расторопность и храбрость в одном унтер-офицере союзных войск, велел фельдмаршал тотчас представить его в офицеры. Но что же? — получается в ответ на нескольких больших листах нота, в которой излагаются причины невозможности удовлетворить сему желанию, в рассуждении того, что означенный унтер-офицер не из дворян и не выслужил срочных лет. В подкрепление сего приведены были законы, воспреещающие таковое производство. Оскорбленный граф вырывает у меня бумагу и бросает ее на пол с сим восклицанием: «Боже мой! Я начальник армии и не могу быть ее отцом и благодетелем. Дарование в человеке есть бриллиант в коре. Отыскав его, надобно [60] тотчас очистить и показать его блеск. Талант, из толпы выхваченный, преимуществует пред многими другими. Он всем обязан не породе, не искусству, не

случаю и не старшинству, но самому себе. Старшинство есть большею частью удел посредственных людей, которые не дослуживаются, а доживают до чинов. О, немогузнайка — нихтбештимзаген! Нет, родимая Россия! Сколько из унтеров возлелеела ты героев!» — Весь этот день был граф скучен и сердит.

От фельдмаршала было приказание представлять ему лично каждого солдата, который отличится или храбростию, или каким-нибудь редким поступком, и часто таких обнимал, целовал и потчевал из своих рук водкою. В сражении при Треббии, полку Ферстера солдат Митрофанов взял с своим товарищем трех французов в плен. Они отдали свои кошельки, часы и все, что имели. Митрофанов принял и возвратил им несколько денег на корм. Подбежавшие наши [61] солдаты хотели было их в ярости изрубить, но Митрофанов не допустил, сказав: «Нет, ребята, я дал им пардон. Пусть и француз знает, что русское слово твердо». После с товарищами разделил добычу. Митрофанов был тотчас представлен и на вопрос Суворова: «Кто тебя научил быть так добрым?» отвечал: «Русская азбука: С. Т. (слово, твердо), и словесное Ваше сиятельства нам поучение. Солдат — христианин, а не разбойник». С восторгом обнял его фельдмаршал и тут же на месте произвел в унтеры.

Когда фельдмаршалу доложили, что союзное войско ропчет на вводимый в их службу новый порядок, отвечал он: «На это смотреть не должно. Филипп, король Испанский, велел выносить из Мадрита всякую нечистоту, от которой едва не сделалась зараза. Вся столица противу сего возопила; но король сказал: «Это младенцы, которые плачут, когда их обманывают; зато после спят они крепким сном». И Мелас умолк. [62]

Фельдмаршал едет верхом в Италию мимо церкви. Архиепископ, в облачении с крестом, возгласил: «*Sta Sol!* Остановись солнце! И солнце ста и не иде на запад». Он тотчас соскочил с лошади и бросился целовать крест; престарелый, летами согбенный архиепископ продолжал: «Я остановил тебя, спаситель алтарей наших, на пути Христианской славы твоей словом Иисуса Навина; а теперь произреку тебе: и ты предидеши пред лицом Господним уготовати пути Его и дать разум спасения Его людям». Внезапность сего явления столь потрясла все бытие Суворова, что, проливая слезы, обнял, расцеловал он архипастыря; но не мог произнести ни слова. И о сем благочестивом муже не постыдились ненавистники славы России разглашать, якобы он показывал свою жестокость и над Священнослужителями!\* [63]

\* В разных иностранных газетах распространяли, будто Суворов приказывал при себе наказывать жестоко Римско-Католических Духовных. — Но когда? где? и при ком?

Князь не хотел никогда иметь под ружьем более ста тысяч войска. Он почитал сие достаточным для вторжения в Париж; но жаловался, что теперь у него только горсть людей. «Нет! — возразил некто, — ваша армия величайшая. Вы забыли громаду мыслей и сил Суворова! Забыли, как его превыспренность преобразует годы в месяцы, а месяцы во дни». «Уймешься ли ты, — сказал он, — а то я убегу». «Бегите, — отвечал тот, — мы видели ваш побег на Минчио, Адж, Треббию, Нови, Сен-Готард, Тейфельсбрик, Гларис». «Чудесная память!» — вскрикнул генералиссимус и завел другой разговор.

По распечатании одного пакета на имя генералиссимуса, нашел я на него пасквиль, в котором он разруган. Называют его варваром, Вандалом, одетым в окровавленную львиную кожу, и пр. и пр. Долго колебался я, донести ли о сем Князю? Наконец решился и прочитал ему. Он расхохотался и сказал: «Ох! Какое слабое орудие якобинизма. [64] Не

можно ли напечатать эту бранную бумагу? — она посмешила бы публику». И при сем случае показал, что он превыше всех насмешек и ругательств; ибо велел ее читать всем.

Не могу не повторить здесь анекдота, который так живо изображает доброту души Суворова. Во время двухлетнего его в Херсоне пребывания, познакомился он на вечеринке с сестрою знаменитого нашего адмирала Круза. Он узнает, что муж ее, капитан первого ранга Вальранд, разжалованный вечно в матросы, проживал с нею здесь. Тронутый несчастным положением сей благовоспитанной дамы, приглашал он ее всегда к себе на банкеты и танцевал с нею. В день отъезда своего в армию, садясь в кибитку, сказал он ей: «Молись Богу; Он услышит молитву твою!» И, по взятии Варшавы, пишет в Петербург: «Знаю, что Матушка-Царица меня наградит. Но величайшая для меня награда — помилование Вальранда». И Вальранд опять капитан первого ранга и умер генерал-майором. [65] Я молчу. Какими словами возносить такую добродетель!!...

У графа было обыкновение, что когда начнут его хвалить, то он, почитая хвалу за лесть, закрывает глаза, запрыгает и убежит. Но ученый и достойный австрийский генерал-квартирмейстер Цах, с которым любил он беседовать о военном искусстве и которого называл он генералом *sans facons* (*бесцеремонным (фр.)*), схватя его однажды, не выпустил из горницы. Разговорились, что каждый народ храбр и имел свои эпохи славы. «Правда, — сказал Александр Васильевич, — такими были греки под предводительством Фемистоклов и Аристидов, римляне при Сципионах и Цезарях, гунны при Аттиле, турки при Магомете и Баязете, французы при Квнде и Тюренне, австрийцы с Валенштейном и Евгением, пруссаки при Фридрихе, англичане под начальством Малборука»... «А русские и мы, — прервал Цах его речь, — под начальством Суворова?» Граф замешался, вскрикнул: «Как! И Катон, мой Цах, начинает мне [66] льстить?» — и хотел было бежать. «Никак! — отвечал тот с германскою важностью, не выпуская его из рук. — Зачем ретируетесь вы от истины, доказанной современною нашею историею? Скажу более и льстить не буду: всякий, вами наименованный народ, под жезлом вашим, был бы победоносен, потому что вы — герой всех веков и всех народов!» Граф должен был усесться.

У фельдмаршала случилось много знатных эмигрантов, которые взапуски говорили о своих пожертвованиях в пользу несчастного короля. Он прослезился при воспоминании о добродетельном государе, падшем от злодейской руки своих подданных, и сказал: «Жаль, что во Франции не было дворянства. Этот шит Престола защитил в стрелецкий бунт нашего Помазанника Божия». И все вдруг умолкли.

Когда от кардинала Руффо, главнокомандующего христианскою армией в Нижней [67] Италии, получено было известие, что при содействии российских военных сил, под начальством капитана второго ранга Сорокина, взят Неаполь, то фельдмаршал воскликнул: «Итак, вот и другая Парфенопейская республика исчезла с лица земли, и она лежит теперь во гробе с сиреню Парфенопеею, в честь которой получила сие название. Где же то древо вольности, которое французы обещали водрузить на пламенном Везувии? О, хвастунишки!» Кардинал в письме своем приписывал сей успех единственно победам Суворова: ибо они отвлекли все силы Макдональда к Треббии, и сей должен был оставить в Неаполитанских областях только малочисленные гарнизоны. Выписку из описания о бывшем в Неаполе ужасном кровопролитии, от самовидца присланную, читал я вслух. Фельдмаршал содрогался. Вот она: «По вступлении войск в Неаполь, калабрийцы буйствовали с беспримерною кровожадностью: убивали без пощады всех, кто только

носил имя якобинца, и невинно и произвольно; грабили дома; неистовствовали с несчастными женами [68] и безвинными детьми. Более двух тысяч домов были разорены. Христианская армия в ужасах превзошла революционную. Во многих улицах жарили пленных, подымали их на штыки. Были чудовища, которые сосали кровь из убиенных. С великим трудом удержал Руффо от пожара хлебные магазины, в которых спрятались до 600 патриотов. Русские смотрели с омерзением на таковые бесчеловечия. Они не оставались хладнокровными зрителями: бросились, исторгали невинные жертвы из рук убийц и сим героизмом в человеколюбии покрыли себя славою, которая в летописях здешних пребудет вечною». Тут фельдмаршал встал, перекрестился и сказал: «Труссы всегда жестокосерды». По получении известия об удалении из Неаполитанского королевства французов, кардинал Руффо простер свои завоевания, дабы приблизиться к центру революции. Он сосредоточил войско, из 30 т. состоящее; выступил с оным из Калабрии и занял важный приморский город Салерно, который отстоит только в семи [69] милях от Неаполя. В то самое время отрядил адмирал Ф. Ф. Ушаков из Корфу капитана Сорокина с 5 фрегатами, 1 корветом и 4 канонерскими лодками в Адриатическое море. Сия флотилия в короткое время овладела приморскими городами: Бриндизи, Бари и Манфредонию, высадила на берег 500 человек войска, которое, под предводительством капитана Бели-Фоджа, повсюду разрушали республиканские знаки; истребляли якобинцев и, по приведении чрез несколько дней всей Андалузии в повиновение королю, соединились с Руффо и вступили в Неаполь.

Когда князю предлагали взять к себе в главную квартиру другого священника, проповедника гораздо ученейшего, то он не согласился на сие, сказав: «Нет! Пусть остается при мне старый. Иной проповедует с горячим языком, но с холодным сердцем».

Получено известие о падении при Дворе одного министра. «Я этого ждал, [70] — сказал князь Александр Васильевич и, взяв перо, написал следующее: «Фортуна воздвигает колосс, подножие которого из глины. Она отвела ему у себя уголок только для постоя, а не в вечное потомственное владение. Я знал, что своенравная сия хозяйка сперва его приголубит, а после прогонит. Беда без фортуны, но горе без таланта! Изгнание Аристидом, присужденное Остракизмом, дало добродетели его тем большую знаменитость. Вот разница между Аристидом и нашим Антишамбристом».

Один полковник, рассуждая о предстоявших военных предприятиях, осмелился предложить фельдмаршалу план отдельным операциям своего полка. «Воюй, полковник; твой успех будет эпизодом в истории. Но план главнокомандующего есть история его жизни и — славы всего его войска».

В пылу Новийского сражения доносят фельдмаршалу, что в сию минуту [71] убит майор Корф, которого он знал и любил еще в Польскую войну. Он перекрестился, прослезился и воскликнул: «Вечная память достойному, храброму Корфу! Завидна смерть на поле брани за Отечество. Будем молиться за упокой души его; но да не прогневим ропотом Бога, сотворившего нас смертными. Его Святая воля!» Дал шпоры лошади и полетел за победою.

Как враг десантов князь Александр Васильевич рассказывал, что еще в деревне своей, Кончанске, смеялся он над предполагаемою Бонапартом высадкою в Англию. «Я, — говорил он, — называл ее тогда же второю после Гибралтара репетициею трагико-

комической военной драмы, которая никогда не будет разыграна. В Гибралтаре Криллон дал бессмертную знаменитость Эллиоту; а с собою увез срам и позор. Отсюда же уплыл Бонапарте в Египет. Так оканчиваются десанты!»

Князь Багратион рассказывал за столом у генералиссимуса об одном [72] старом, заслуженном, редкого поведения полку его солдате, который принес ему пять червонных с семью словами: «Эти деньги достались мне при разделе добычи от моих товарищей; но Бог послал их девяностолетним родителям моим в Нижегородской губернии. Сделайте милость, Ваше сиятельство, прикажите их к ним туда отправить по сей надписи». Что князь тотчас и исполнил. Александр Васильевич, восхитясь сим поступком, велел привести солдата и, расцеловав его, произнес: «Спасибо тебе, христианин, что ты помнишь заповедь Божию: чти отца и мать твою». Узнав, что он был с ним в турецких и польских походах, вскрикнул князь: «Давай мне за него дюжину рекрут — нет, мало, и сотни не возьму. Поздравляю тебя унтером». «Благодарю, Ваше Сиятельство, — отвечал солдат, — я неграмотный, служил рядовым, прикажите мне умереть в рядах». Суворов, обратясь ко всем, сказал: «Где это услышим?» [73]

Князь любил ходить часто между солдат, в солдатской куртке или в изодранной своей родительской шинели, и был всегда доволен, когда его не узнавали. Тут бывали с ним нередко весьма забавные встречи, которые, если описывать, то надобно писать новую книгу его анекдотов. Часто находили его в армии спавшего наповал с солдатами. Так, однажды закричал вслед фельдмаршалу, бежавшему в солдатской простой куртке, присланный от генерала В. Х. Дерфельдена с бумагами сержант: «Эй, старик, стой! Скажи, где пристал Суворов?» «Черт его знает», — отвечал он. «Как! — вскрикнул сержант. — У меня от генерала к нему бумаги». «Не отдавай, — был второй ответ, — он теперь или размертвецки пьян, или горланит петухом». Тут посланный поднял на него палку и вскрикнул: «Моли ты Бога, старичишка, за свою старость; не хочу и рук марать; ты, видно, не русский, что так ругаешь нашего отца и благодетеля». Суворов — давай Бог ноги. Через час возвращается он домой. Сержант, узнав его, хочет [74] броситься к его ногам; но граф, обняв его, сказал: «Ты доказал любовь ко мне на деле: хотел поколотить меня за меня», — из рук своих потчевал его водкою.

Также и в Финляндии, едучи на чухонской телеге, не успел Суворов по тамошним узким дорогам своротить, как вдруг столкнувшийся с ним курьер ударил его пребольно плетью. Лежавший с ним адъютант его, Курис, поднялся и хотел было закричать, что это главнокомандующий, как Суворов, зажав ему рот, сказал: «Тише! Тише! Курьер, помилуй Бог, дело великое!» По прибытии в Выборг, узнает Курис, что курьер тот был повар генерал-поручика Германа, отправлявшийся с курьерскою подорожною за провизиею в Петербург, и донес о сем графу, который произнес: «Ну что же? Мы оба потеряли право на сатисфакцию, потому что оба ехали *инкогнито*». [75]

В прошлую войну с турками граф Александр Васильевич Суворов, объезжая части вверенных ему войск, заехал к полковнику Соболевскому, командовавшему тогда частью арнаут, расположенных в лагере при реке, и, спрося прежде об имени полковника, вошел к нему в палатку и сказал: «Здравствуй, Иван Володимирович! Много ли турок за рекою?» Полковник (родом из сербов) был приведен в замешательство таким нечаянным вопросом, тем более, что никогда еще не видывал Суворова, отвечал: «Не могу доложить». При сем отзыве Суворов, закричав: «Проклятая немогузнайка!», приказал тотчас курить, как можно более, в палатке и вскоре, сев на казацкую лошадь, поскакал из лагеря, приказав



притом полковнику Соболевскому следовать за собою, а находившемуся при нем полковнику Курису велел между тем наставлять Соболевского. Отъехав потом некоторое расстояние, подозвал к себе Соболевского, и опять спросил его: «Много ли турок?» Сей отвечал: «Много, Ваше сиятельство». Тогда Суворов выговаривал Курису, что он худо наставил Ивана [76] Володимировича; велел продолжать наставления и поехал далее. Дорогою беспрестанно и громко бранил Соболевского и иногда Куриса, за худое наставление. Неоднократно спрашивал, наставил ли Ивана Володимировича? При отзыве сего о исполнении, повторял: «Еще наставляй». После чего, отъехав несколько верст, остановился возле дерева и, подозвав к себе Соболевского, сказал: «Знаешь ли, что ты наделал? Ты сказал, что турок много, я напишу к князю П., чтобы присылал более войска, потому что Иван Володимирович говорит: много турок; князь напишет к Матушке-Царице; Императрица принуждена будет дать указ о рекрутском наборе, все потому, что Иван Володимирович говорит: много турок. Вот что ты наделал!» После сего разговора приказал Соболевскому взлезть на близстоящее дерево, обозреть неприятельский лагерь и счесть, по возможности, число палаток турецких; что тот и исполнил. Тогда граф Александр Васильевич сказал: «По числу палаток положим число людей, ошибемся немногим: для тебя много и пяти тысяч, [77] а мне мало и ста тысяч», — и с сим уехал.

Генерал К... представил князю семилетнего сына своего, крестника Суворова, мальчика избалованного, пререзвого, который начал прыгать и скакать по стульям; отец его унимать, а Александр Васильевич уговаривать отца: «Оставь его, пусть шалит и резвится. Это меня тешит. Скоро, ах, скоро поблекнет сей золотой без золота возраст, при первом звуке слова: *этикет*. Тогда прощай, невинная простота и веселость младенчества!»

Однажды князь, разговорясь о самом себе, спросил всех, у него бывших: «Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою: меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, при Дворе надо мною смеялись. Я бывал при Дворе, но не придворным, а Эзопом, Лафонтеном: шутками и звериным языком [78] говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который был при Петре Первом и благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждал сонливых, угомонял буйных врагов отечества. Если бы я был Цезарь, то старался бы иметь всю благородную гордость души его; но всегда чуждался бы его пороков». И, обратясь ко мне, прибавил: «Запиши это для истории».

Князь Г.А. Потемкин беспрестанно назывался к Александру Васильевичу на обед. Граф всячески отыгрывался; но наконец вынужден был пригласить его с многочисленною свитою. Тотчас призывает к себе искуснейшего при князе метрдотеля, Матоне, поручает ему изготовить великолепнейший стол и не щадить денег; а для себя велел своему повару, Мишке, приготовить два постных блюда. Стол был самый роскошный и удивил даже самого Потемкина. Река виноградных слез, как Суворов в одном письме своем пиитически отзывался, несла на себе пряности обеих Индий. Но он, кроме [79] своих двух блюд, под предлогом нездоровья и поста, ни до чего не касался. На другой день, когда метрдотель принес ему счет, простирившийся за тысячу рублей, то он, надписав на оном: *Я ничего не ел*, отправил к князю, который тотчас заплатил и сказал: «Дорого стоит мне Суворов!»

Князь, увидя нечаянно табакерку с изображением одного лица, ему и многим ненавистного, отбросил ее и сказал: «Ах, как я испугался! Зачем не изобразил живописец его спящим? В минуты сна и тигр бывает добр и не вредит».

Однажды князь за обедом вдруг делает себе вопрос: «Что есть глазомер? — быстрый обзор всех предстоящих предметов, для примерного определения числа и величины их. На войне взлезай на дерево, как я при Рымнике. Я увидел неприятельский лагерь, местоположение, и поздравил себя на дереве с победою. Для этого (взглянув на [80] меня) вооруженные очками глаза не годятся». Я встал и поклонился ему за правду. «Сиди, не беспокойся!» — сказал он.

Когда от вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова получено было известие о взятии флотом Корфу, вскрикнул князь: «Великий Петр наш жив! Что он, по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах, произнес, а именно: *Природа произвела Россию только одну: она соперницы не имеет!* — то и теперь мы видим. Ура! Русскому флоту! Генрих IV написал знаменитому Криллону: *Повесься, храбрый Криллон; мы победили при Арке (Argues)! А тебя там не было!* Я теперь говорю самому себе: «Зачем не был я при Корфу, хотя мичманом?»

Быв в городе Вишау свидетелем трогательной сцены, я описал ее, и Г. Антинг, выпросив у меня, поместил анекдот сей в своей Истории. Вот он.

Добрая, благородная душа князя имела особенную привязанность к малым [81] детям; и тот же самый человек, который в день сражения подбил перуну раздраженного божества, при слабом и несчастном имел всю чувствительность нежнейшего сердца. При возвращении его из Италии чрез Моравию, был он встречен в городе Вишау тамошним обер-амтманом комиссаром Целинкою, бургомистром Зауликом и городским синдиком Баером, при игрании на трубах и литаврах. Его Сиятельство, будучи весьма доволен таковою нечаянною встречею, обнял их и пригласил к столу, во время коего герой наш пил за здравие Их Императорских Величеств, Павла I и Франца II. В продолжение стола дети обер-амтмановы пришли с другими детьми и, пропев в похвалу ему кантат вместе с инструментальною музыкою, поднесли ему разные плоды, как малый дар, не имея лучшего. При сей сцене покатались от радости слезы по ланитам достопочтенного и сединами украшенного мужа, лобызавшего с усердием многократно всех бывших тут детей. Потом, посадив за стол вокруг себя небольшой хор сих певцов, [82] сам их потчевал и давал каждому мальчику пить из своей рюмки. Почти полтора часа разговаривал он с одними своими маленькими гостями, увещевая их быть добродетельными и благочестивыми; он рассказывал им также и о собственных своих детях, и в продолжение разговора очень часто показывались на глазах его радостные слезы. «Сегодня, — повторял он неоднократно, — самые приятнейшие у меня за столом гости. О, невинность! И я, любезные мои дети, буду скоро на вас походить. Вы для меня столь прелестны, что не могу с вами расстаться». И в самом деле, Его Сиятельство просидел за столом целый час более обыкновенного.

В Павии приглашали графа посетить университетскую библиотеку, но он отговорился недосугами. Обратясь ко мне, сказал: «Сходи посмотреть сей макулатурный магазейн. Сколько миллионов гусей должны были поставлять свои перья! Какой чернильный океан должен был разлиться, чтобы белое [83] сделать черным! Но скажи им, что Суворов в Варшаве не был Омаром в Александрии: он не сжег библиотеки, но поднес сей плод оружия Отечеству».

Разговорясь с графом Сент-Андре о славном Тюренне, спросил его князь: «На кого похож

Тюренн?» Тот отвечал: «На Суворова; и он и Суворов могут сказать: поп omnis moriar, т.е. не весь умираю». Это так понравилось Александру Васильевичу, что за обедом несколько раз повторял он тихонько про себя: поп omnis moriar. Велел было мне записать; но я отвечал: «Такая истина не изглаживается из памяти».

Один генерал любил ходить в пучке, что было противно тогдашней форме. Князь боялся за него, чтобы он за то не подвергнулся неприятностям; но, уважая его лета и службу, не имел духу ему запретить. Однажды сказал он мне при нем: «Узнай под рукою, не кроется ли в пучке или под [84] пучком что-нибудь важное?» И подобными разными шутками довел он его до того, что он начал носить форменную косу.

В упорных и решительных сражениях бывают такие минуты, когда обе стороны, по невольному действию сердца человеческого, ощущают слабость средств своих, бесполезность напряжений и сил истощения. Наблюдение сей единственной минуты доставляет успех и славу. Суворов одним взором усматривал движение рядов и душ русских воинов. К сей минуте нравственного ослабления у него был всегда запас. В самом жару сражения под неприступными высотами Нови Суворов увидел сие расположение душ; немедленно отдал приказ к нанесению неприятелю последнего удара и, когда все войска двинулись, герой сказал: «Велик Бог Русский! — Я победил Моро!»

Некоторые полководцы умели побеждать, а не умели пользоваться победою. [85] Суворов и удачу врагов употреблял в пользу себе. Когда подан был знак к переправе через реку Адду, в то самое время несколько отважных русских гренадеров бросились на суда, неустрашимо принялись за весла и, по темноте ночи, в несколько минут пропали из виду. Вскоре с противного берега услышали беспорядочную пальбу: разные огни засверкали сквозь кустарники. Прозорливый Суворов тотчас догадался, что неприятель зажег передовые суда. Опасность русских воинов, переплывших за Адду, обратил он в предвестие победы. «С нами Бог! — вскричал герой. — Богатыри овладели берегом и зовут нас. Не выдадим своих! Вперед! С нами Бог!»

Суворов, встретясь с одним генералом, по стремлению невольной запальчивости, сделал ему жестокий выговор и вдруг, смягча голос, продолжал: «Я говорил вам, как раздраженный начальник, теперь буду говорить, как друг и отец. Я знаю все: вероломство и измена предали вас в руки [86] неприятелей. Бог взыщет с них!.. Если можно, не вспоминайте никогда о прошедшем».

По окончании Итальянской кампании, приказал мне генералиссимус узнать, был ли в продолжение оной кто-либо наказан за нарушение подчиненности. Когда, по получении справок, донес я Его Сиятельству, что ни одного не было, то он с восторгом вскочил и возблагодарил Бога. «Теперь, — сказал, — узнаю я наше русское войско. Сей подчиненности обязан я своими победами, ибо что есть войско без повиновения и каким образом могут толпы вооруженных людей направляемы быть безошибочно к назначаемой цели без власти, разделенной между постепенными начальствами? Запиши: «Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие. Нет! Греки и римляне с нами не равняются».

Положив 16 апреля 1799 года переправиться чрез быструю реку Адду, которой крутые

берега везде были [87] укреплены батареями, Суворов сказал: «Победа, слава и безопасность воинов наших зависят от сего подвига. Медленность наша умножит силы неприятеля; быстрота и внезапность расстроят его и поразят. Широта реки не сузится, высота берегов не понизится; Русский Бог силен! С Ним перелетим полетом богатырским; с Ним победим!!! Ура!» — и русские за Аддою.

По взятии Милана некоторые австрийские генералы представили Суворову, что после трехдневного с неприятелями дела войска заслуживают, чтобы им дано было хотя малое отдохновение. В ответ на то Суворов отдал в приказе: *Vneped!*

Рассказывали про кого-то, который любил копировать Суворова, подражая ему в образе жизни, качиваться водою, бегать, прыгать и т.п. Александр Васильевич начал: «Зачем старичок меня корчит? Мне кажется, обезьяны [88] для того и сотворены, чтобы нас, одаренных разумом, отчуждать от смешного обезьянства. Так, спартанцы испугались, увидя пьяного Илота. Жалко подражание, похвально соревнование. Подражание есть признание в недостатке собственных своих способностей; соревнование — порыв благородной души, которая хочет выказать оспариваемое у нее преимущество. Подражатель ползает за своим оригиналом; соревнователь стоит возле него и отбивает у него венец. Тот раб, сей господин. Пусть старинушка, передразнивая меня, смешит всех собою...»

Читали книгу, в которой сказано, что один персидский шах, человек, впрочем, кроткого нрава, велел повесить двух газетчиков за то, что они поместили в своих листках две лжи: «Как! — вскрикнул Суворов. — Только за две лжи? Что если бы такой шах явился у нас, исчезли бы все господа европейские журналисты! Не сносить бы головы своей и Дюмасу». [89]

Известный в Европе пастор Лафатер прислал к Суворову из Швейцарии в Италию сочинение свое под заглавием: *Одно слово свободного швейцарца к французской нации*. В оном описаны все неистовые и злодейские поступки *тогдашних* французов. Он велел тотчас напечатать несколько сот экземпляров для раздачи по Швейцарии, когда мы туда вступим; а следующую статью выписать для себя: «Французская нация! Перестань называться великою нациею. Колоссальная величина — не истинное величие; и триста миллионов китайцев показались бы тебе смешными, если бы нарекали себя великими. Называй себя малейшею из всех наций, или ты должна терпеть, что все великие и малые народы тебя признают такою. Французская нация! Устами частного человека вопиют языки нескольких сот тысяч вольных швейцарцев ко всем народам: «Мы еще рабы, рабы, какими никогда не бывали». О Лафатере должен я заметить, что покойный государь император Павел I знал его лично и высочайше предписал: взять его в [90] Цюрихе под особое Российское покровительство.

Князь любил в праздные часы рассказывать о прежних своих походах; но всегда кратко и отрывисто. Так, говоря о взятии Измаила, начал следующим образом: «Гордым Бог противится. Три раза посылал я требовать сдачи. Что же? Получаю от паши ответ: «Прежде переменит Дунай свое течение, прежде ниспадет небо на землю, нежели Измаил сдастся». Вдруг гордыня у наших ног. Бог наш спаситель; великая Царица на Престоле; войско победоносное. Едва успел сказать: храбрые воины! Два раза подступали наши к крепости, в третий победим со славою — и уж чудо-богатыри в крепости!»

По выходе из Альпийских ущелий, приближаясь к городу Куру, увидели мы двух быков. Вдруг все бросились, вмиг распластали и раскрошили их, развели огонь; и каждый, начиная с фельдмаршала, [91] жарил сам кусок своей говядины на палочке или на шпаге. Еще и теперь не могу забыть, как вкусен был тот кусок. В то самое время бросается к ногам Суворова старик с старухой в слезах и жалуется на солдат, похитивших у них скот. «Нет! — сказал он, обняв его. — Мы не разбойники, а голодные; возьми сто червонных, возьми более, сколько хочешь; но не порицай в грабительстве добрых защитников твоей родины. Ты, верно, эти две недели был сыт с твоим семейством, а мы не знали хлеба и умираем с голоду. Бог будет нас судить всех: Его беспредельное милосердие помилует нас; но твоего жестокосердия к ближним не оставит без наказания. Помни, старик, мы все братья. Швейцарцы — добрые христиане». Слова сии, произнесенные с жаром чувств, поколебали крестьянина: он отказался от денег, а начал только просить о карауле к своему дому, который тотчас ему и дан.

Один иностранный генерал за столом у Суворова возносил его хвалами [92] без умолку, так что наскучил ему и нам всем. Подали прежалкий круглый пирог, который кушал лишь один Александр Васильевич. «Знаете ли, господа, — сказал он, — что ремесло льстеца не так-то легко. Лесть походит на этот пирог: надобно умеючи испечь, всем нужным начинить в меру, не пересолить и не перепечь. Люблю своего Мишку повара; он худой льстец».

Строжайше запрещено было офицерским женам следовать за армиею. Несмотря на то, многие переодевались в мужское платье, были с мужьями своими неразлучно и прятались от генералиссимуса. Однажды встретился он с такою переодетою и спросил: «Кто это такой?» Отвечают: капитан. «Храбр ли он?» Ответ: храбр. «Да, — продолжал князь, — знаю его. Он, помилуй Бог, храбр — в Амазонском полку».

В одном немецком городе, когда князь занимался со мною в кабинете [93] своем, вбегает к нему престарелая хозяйка дома и, бросаясь к ногам его, кричит: «Спасите, генерал; ваши солдаты грабят мой сад, ломают яблони и едят не созревшие еще яблоки. Они все умрут». Фельдмаршал приказал тотчас их выгнать, а потом, указав ей на меня, сказал: «Вот этот генерал, которому приказано смотреть за порядком, будет за сие тотчас разжалован вечно в солдаты». Тут полились новые слезы; добрая старушка умоляла его о помиловании меня. Забыты яблоки. Но он оставался непреклонным: сел и принялся опять со мною за работу. По возвращении моем в канцелярию, она просит у меня прощения, что невинно в первый раз в жизнь свою сделалась виновницею несчастья ближнего. С великим только трудом мог я ее успокоить.

Государыня Императрица Екатерина Алексеевна изволила изъявить желание, чтобы Суворов вступил в переписку с Шареттом, Генералиссимусом тогдашних Королевских Французских [94] войск в Вандее. На сей конец поднесен ей был на усмотрение проект письма на французском языке к Шаретту, для подписания Суворову. Государыня, по прочтении, уничтожила оный, сказав: «Не нам учить Суворова писать. У гения свой полет и свое перо». И тогда удивил граф высоким французским своим красноречием всех иностранцев. Во всех газетах было то послание напечатано, как образцовое. На третий день моего вступления к нему в должность, спросил он меня, читал ли я то произведение его. Я признался, что нет. Тут он тотчас вынул оное и велел мне сесть и перевести по-

русски<...> [95] (*оригинальный французский текст в электронной версии не приводится*).

Вот мой перевод сего достопамятного письма:

«Суворов к г-ну Генералиссимусу войск французского короля де Шаретту; из Главной своей квартиры.

Герой Вандей! Знаменитый защитник веры отцов твоих и престола твоих Государей! Приветствую тебя. Господь сил да блюдет тебя во всякое время; да направит десницу твою на поражение полчищ многочисленных врагов твоих, кои от единого мановения перста сего Бога отмстителя падут рассеянные, яко лист, ветром севера отторженный! А вы, бессмертные вандейцы! Верные хранители чести Французов! [96] Достойные сподвижники Героя, вами предводительствующего! Восстановите Храм Господень и престол Государей ваших. Нечестивый да погибнет, и путь его да потребится! Тогда мир благодетельный да возродится паки, и древний стебель лилии, преклоненный долу, да восстанет посреди вас блистательнее и величественнее. Храбрый Шаретт, честь французских рыцарей! Вселенная исполнена имени твоего; изумленная Европа созерцает тебя; тебе удивляюсь я, тебя приветствую. Бог избрал тебя, как некогда Давида для наказания филистимлян. Благоговеи пред судьбами Его. Лети на брань, устремись на врага, рази, и победа последует стопам твоим! Таковы суть желания воина, который, поседев на полях чести, всегда зрел победу, увенчивающую упование его на Господа сил! Слава Ему! ибо Он есть источник всякие славы. Слава тебе! Ибо ты Ему любезен. Суворов. Октября 1 дня 1795 года. В Варшаве».

Сядясь обедать, заметил князь, что один молодой офицер теснился [97] сесть выше старших, чего он весьма не жаловал; тотчас начал кричать своим языком: «Дисциплина! Субординация! Высока лестница военного чиновачалия! Ступени широки! — кто ступил выше, тот выше и садится!» И проч. Чтобы остановить гнев его, один из сидящих уверил графа, что этот молодой человек близорук и стихотворец, и хотел поближе рассмотреть героя своей поэмы. «Зачем, — сказал Александр Васильевич, — не предупредил ты меня? Я думал, что он маменькин баловень; а теперь вижу, что это *licence poétique* (*поэтическая вольность (фр.)*). Как нам не служить, когда у нас в армии барды и трубадуры сулят нам бессмертия!» Просил стихотворца-самозванца принести прочитывать свою поэму, развеселился и принялся с аппетитом за Мишкины блюда.

Предварительно должен я просить у читателей моих снисхождения, если займу их рассказом о весьма забавном, но маловажном происшествии: о возложении двух медалей на камердинера Генералиссимуса [98] Прошку, который во всей армии известен был под сим именем. Наперед скажу также, что сей Прошка был человек невоздержный, ограниченного ума и дерзкий. Он отнимал иногда у него тарелку с кушаньем, грубил ему. Несмотря на то, барин его, помня, что он как-то спас некогда жизнь его, снисходил к его невежеству и шутил над ним. Вдруг сей Прошка удостоивается получить от Сардинского короля, Карла Эммануила, две медали, одну с изображением государя императора Павла Первого, а другую с изображением короля и с надписью на латинском языке: *За сбережение здоровья Суворова*. Обе на зеленых лентах. На пакете рескрипта, запечатанном большою королевскою печатью, адрес следующий: «Господину Прошке, камердинеру Его Сиятельства князя Суворова». Сей пакет внес Прошка своему господину с воем и прослезил его также. Тотчас за мною посылка. Я являюсь. С восторгом кричит граф: «Как! Его Сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку! Садись и [99] пиши церемониал завтрашнему возложению двух медалей на грудь Прошки». Я сел и написал: «Первый пункт: Прошке быть завтра в трезвом виде». «Что значит это? — сказал Александр Васильевич. — Я от роду не

видывал его пьяным». — «Я не виноват, - отвечал я, — если я не видал его трезвым». В одном пункте сказано между прочим, что, по возложении медалей, должен Прошка поцеловать руку своего барина; но граф требовал настоятельно, чтобы он поцеловал руку Габета, уполномоченного королем при Главной квартире Суворова. На другой день церемониал совершился по пяти пунктам в точности, кроме первого, который исполнен с некоторыми ограничениями. Также в конце: Габет никак не давал своей руки; граф и Прошка за ним гонялись, и едва все трое не упали. Забыл я сказать, что Прошка в сей жаркий итальянский день был в бархатном кафтане с большим привешанным кошельком и уже не служил, а стоял в отдаленности от графского стула, неподвижно за столом, где пили какое-то кипрское, [100] прокисшее вино за его здоровье. Нельзя не подивиться, как граф при сем забавном случае сохранял пресерьезное торжественное лицо. Так мешал он дело с бездельем, и это называл своею *рекреациею*.

Отдавая английскому курьеру письмо к адмиралу Нельсону, Суворов сказал: «Кланяйтесь другу моему, Нильскому Герою, сказавшему накануне Абукирского сражения: *«Завтра я — или лорд, или ангел»*.\*

\* Адмиралы в Англии за победы производятся в Лорды. Следовательно, победитель – Лорд, или смерть.

Фельдмаршал говаривал, что недурно иногда спросить и служивых, с кем они хотят воевать. Они знают и не ошибаются в своих начальниках. Надобно было однажды отрядить для нападения на неприятеля два батальона. Он подослал спросить, за кашицею, солдат одного полка, с кем бы они хотели поработать. Все в один [101] голос назвали одного полковника, несмотря что там были, казалось, гораздо достойнейшие. Он тотчас исполнил их желание, и дело увенчалось успехом.

Один эмигрант насчитал князю целый каталог недавно изданным книгам о военном искусстве и казался удивленным, что он их не читал. «Удивительно, — сказал наконец Александр Васильевич, — никогда так много не писали о тактике, как в царствование Людовика XV: а какую жалкую роль играла в военной истории французская армия. Начальники, увы! Субиз и Клермон; военный дух: Росбах! Минден! Забыты века Карла Великого, Генриха IV, Людовика XIV. Военная их библиотека была очень невелика. Ее украшали тогда имена: Тюренн, Конде, Люксанбург, Катина, и проч.»

Разговорясь о государе Петре Первом, Суворов сказал: «Я благоговел к Нему на Ладожском канале и на Полтавском [102] поле, где, по повелению блаженной памяти матушки Екатерины, был сделан точно тот самый Его маневр. По его следам дознался я, что Он был первый полководец своего века; мнение мое и Румянцев удостоил одобрить».

Князь показал мне однажды приказ, в котором прописан весь его титул, как-то: Его Сиятельство Господин Генералиссимус такой-то армии и разных орденов кавалер, Князь, Граф, и проч. и проч. Он все это вымарал, написав своею рукою: *Суворов приказал*. «Не правда ли, — спросил он меня, — что так лучше?» «Да, — отвечал я, — довольно сказать: *Цезарь приказал*, а еще лучше: *он приказал*. Ибо кто не знает этого *он*, которому все повинуются». Князь взглянул на меня и сказал с улыбкою: «Вижу, что ты двенадцать лет служил при Безбородке». [103]

*Надобно чтить превратность счастья в пленном, была всегдашняя его аксиома, и по*

поводу сего никогда не любил он принимать шпагу от попавшегося в полон, а любил возвращать. Тотчас отдал ее генералу Серюрье в Милане с сими словами: «Кто ею так владеет, как вы, у того она неотъемлема».

Увидя жида, остановился князь, сказав: «Вот и с еврейским пятисотным полком сражался я под Прагою и положил всех на месте, кроме осторожного их полковника Гиршко, который весьма благоразумно оставался в Варшаве и оттуда командовал. «Жив ли он? — спросил он, но, не дождавшись, поскакал. — Напрасный вопрос — он животолюбив».

Храброго майора барона Корфа спросил фельдмаршал за столом: «Ты с нами был в Варшаве? Что ты там видел?»; «Ничего, — отвечал он, — кроме Вашего Сиятельства, когда магистрат [104] возвратил вам содержащихся в полону 1376 русских, 500 пруссаков, 80 австрийцев и в числе их трех генералов наших и трех членов дипломатического корпуса. Я видел, как с них снимали оковы, и как они изливали свои чувства в объятиях своего спасителя». Суворов умолк и умильно прослезился.

Бескорыстие князя Александра Васильевича было во всю жизнь столь велико, что его по всей справедливости можно назвать русским Фабрицием. И об нашем, как о том, сказал бы царь Эпира Пирр: *Прежде совертится с течения своего солнце, нежели сей римлянин с пути честности*. Он радовался, когда войску доставалась богатая добыча, но никогда в разделе ее не участвовал, беспрестанно повторяя: «К чему мне? я и так награждаюсь не по мере заслуг моих, но по величию благодати царской». В Измаиле подвели ему редкую лошадь, которой не было цены, и просили принять ее в память знаменитой эпохи; но он [105] отказался, сказав: «Нет, мне она не нужна. Я прискакал сюда на донском коне, с одним казаком; на нем и с ним ускачу». Когда ему один генерал заметил, что теперь поскачет он с тяжестию новых лавр, то он отвечал: «Донец всегда выносил меня и мое счастье». — Здесь слышим Цезаря!

Приехавший в Главную квартиру бывший республиканский генерал Пишегрю испрашивал у фельдмаршала конференции, но он от оной уклонился, под предлогом политических препятствий. При сем случае говорил он в кабинете: «Не должно теперь слишком доверять пылкости эмигрантов. Кант сказал, что каждый француз есть природный танцмейстер. Вся сила у них в ногах; а мне надобны и головы. Впрочем, чту отважного покровителя Голландии, который не флотом, а по льду сделал высадку на ее берега. Скорость нужна, а поспешность вредна». [106]

Завели у графа разговор о генерале Макке. Тотчас все союзные генералы взглянули друг на друга и шепнули: «Ну, теперь нам достанется». Но как они ошиблись! «Судить о талантах по одним несчастьям, — говорил Суворов, — было бы несправедливо. Я, напротив того, отыскиваю причины неудач Макка в ошибках Неаполитанского министерства. Если Мантуа пала, если Папа принужден был подписать Толентинский трактат, если в верхней Италии основалась Цизальпинская республика, если Бонапарте достиг до Мура; то все это произошло оттого, что Неапольское правление в сии решительные периоды оставалось от страха в бездействии. Такой тогдашний кабинет и войско без дисциплины! Чего тут ожидать? Воинские летописи не сохранили примеров, чтобы малочисленность торжествовала над многочисленностью. Но каждый француз сражался с 6, 8 и даже с 10 неаполитанцами и оставался победителем».



Сколько князь не любил ретирад и оборонительной войны, столько был [107] он также не охотник до десантов. Он не одобрял высадки во Францию английских войск под начальством герцога Йоркского. Ибо известно, как для них несчастливо кончилась кампания 1794 года, так что они должны были сесть на суда, бежать и спастись. В заметке, диктованной генерал-майору Прево-де-Люмиану и помещенной в моей Истории, говорит он именно: «Высадки во Францию не надобно. Они, то есть англичане, должны продолжать нападение на колонии. Они слишком разделяют силы свои в канале и на Средиземном море». По поводу такового его невыгодного о десантах мнения был он в отчаянии, когда получил известие о назначении высадки в Голландию Российских войск с английскими, под главным начальством герцога Йоркского. «Господи! — воскликнул он. — Да не буду я пророком». Последствия оправдали его страх.

«Забавны, — говорил князь, — те животолюбивые скрибы, которые хотят вести войну без пролития крови. И я щадил ее, где можно было. На пути к [108] Варшаве, с 10-тысячным корпусом, обезоружил я в Белорусских провинциях 8000 поляков на пространстве 150 миль, не пролив ни капли. В Варшаве поцеловал ключи города и возблагодарил Господа, что они не окровавлены, как в Праге. «Ба, — обратись к В. Х. Дерфельдену, — ты, герой Праги, расскажи». И сей знаменитый генерал продолжал: «Да, в военной истории нет примера делу, столь отважно предпринятому, столь искусно исполненному и столь достопамятному своими последствиями. Одним ударом потушен огонь раздора; испровергнуто правление, которого конституционное основание воздвигло бури; восстановлен мир». Князь бросился его обнимать, целовать и благодарить. Серьезный Дерфельден спрашивает его: «За что изволите благодарить?» Ответ: «За то, что ты Лаконик».

Князь Александр Васильевич вспоминал всегда с благоговейным восторгом об Императорской фамилии, о августейшей супруге, матери пресветлейших [109] и добродетельнейших царских детей и матери сирых, и о надежде России, тогдашнем наследнике престола Александре Павловиче. «Однажды, — говорил он, — удостоюсь увидеть ангела во плоти, трехлетнего Великого Князя Николая Павловича (ныне счастливо царствующего Государя Императора), бросился я к его ногам. Его Императорское Высочество, испугавшись, заплакал. На случай сей вдруг является Государь и, подымая меня, изволил сказать: «Помилуйте, граф, что вы делаете?» Я отвечал: «Он — сын боготворимого Государя. Его Высочеству скажут, что у младенческих ног его лежал старый верноподданный».

Принц Конде, разговорясь однажды с Суворовым о прежних его подвигах, признался с сожалением, что не читал ничего о заре славы его в Семилетнюю войну. Александр Васильевич обратился тотчас ко мне и приказал написать на французском языке обозрение тех его подвигов. Я заметил его сиятельству, что, не имея [110] достоверных источников, не могу иначе исполнить его приказание, как руководствоваться его историею, изданною на немецком языке Антингом, и сделал из оной извлечение. «Да, — отвечал он, — сделай без всякой прикрасы и покажи мне, а после мы доставим к принцу». Здесь представляю я перевод.

#### **Краткое обозрение подвигов Суворова в Семилетнюю войну**

Мы начинаем повествование наше о Суворове с 1759 года, когда он, на 29-м году своего возраста, вступил на военное поприще, под начальством генерала князя Волконского и

генерал-аншефа графа Фермера. Вскоре приобрел он доверенность их — отважностью своею в баталии при Куннерсдорфе и при взятии Тотлебенем Берлина.

В последующих годах, под начальством генерала Берга, прикрывал он легкими войсками отступление российской армии к Бреславию. Под Рейхенбахом, окруженный значительным прусским корпусом генерала Кноблоха, одержал он первую в жизни своей [111] победу. Ему был тогда 31 год. Беспреданно имел стычки с армиею, предводительствуемою самим Королем, и одерживал нередко частные выгоды. Таковое начало служения весьма лестно для молодого офицера.\*

В том же 1761 году, с сотнею казаков, переплывает он Нейсу при Дризене; в ночь проходит шесть немецких миль к Ландсбергу на Варте; разбивает городские ворота; входит в город; берет в полон прусских гусар, там находившихся, и сожигает половину моста чрез Варту.

Из Ландсберга стремится он с 3 гусарскими и 7 казацкими полками чрез Регенсвальд к Колбергу. Назначение его было тревожить прусскую армию под начальством Платена. Он напал на ону и взял несколько сот пленных.

Несколько дней спустя атаковал он в окрестностях Старгарда другой корпус прусский, начальствуемый Шенкендорфом. С одним эскадроном [112] драгун и несколькими казаками напал он с саблею в руке на один батальон, который храбро отбивался; многие были побиты, а остальные взяты в плен. Хотя у него была только горсть людей, но он тотчас решился напасть на прусских драгун: разбил их, взял два орудия и 20 пленных. Быв окружен неприятелем, он оставил пушки, но не пленных своих. Пруссаки потеряли в сей день ранеными и пленными до тысячи человек.

Полковник де-ла-Мот-Курбиер, командовавший авангардом генерала Платена, составленным из двух батальонов и из десяти эскадронов, сбил русских гусар. Шесть эскадронов конных гренадер следовали за гусарами; Суворов опрометью бросился их догонять, тотчас устроил линии и, невзирая на беспреданную пушечную пальбу, напал на каре, поставленный Курбиером, и заставил его положить оружие.

Суворов, не теряя ни минуты, собрал тотчас своих гусар с частью казаков, напал с ними на прусскую конницу и взял 800 пленных. Также захватил он драгун фуражиров, которые [113] находились на четверть мили впереди от корпуса Платена.

На другой день, с восходом солнца, начал Суворов с тремя батальонами пальбу на ворота города Глогау, под сильным огнем пруссаков. Лошадь под ним убита; он должен был пешком командовать, пока не разбиты были ворота, чрез которые гренадеры его ворвались в город, взяли гарнизон и преследовали бегущих по другую сторону моста в виду неприятельского лагеря. Суворов стремился вперед, но, раненый рикошетным выстрелом, должен был остановиться.

После того атаковал Суворов два батальона двумястами человек: он пробрался мимо них, открыл пальбу на батальон принца Фердинанда, положил многих на месте и взял более ста человек в полон. Пруссаки стреляли из окон. Лошадь под Суворовым опять убита.

В 1762 году заключен мир между Россиею и Пруссиею, и заря подвигов Суворова, произведенного в полковники Астраханского полка, прекращается.

\* О своем воспитании и о службе своей в лейб-Гвардии Семеновском полку, хотел он писать сам.

[114] За взятие Суворовым, без ведома и воли главного начальника, города Туртукая, отдан он был фельдмаршалом Румянцевым под суд. «Рим, — говорил он, — меня бы казнил. Военная Коллегия поднесла доклад, в котором секретарь ее не выпустил ни одного закона на мою погибель. Но милосердие Великой меня спасает. Екатерина пишет:

Le vainqueur ne doit pas être jugé, то есть: победителя судить не должно. Я опять в армии — на служении моей Спасительнице!»

В Италии приглашали его в маскарад, но он отозвался: «Нет! Я, помилуй Бог, трус, а там — маскированные батареи».

В Новой Ладогe делал он с своим Астраханским полком разные маневры, повторяя беспрестанно: «Солдат и в мирное время на войне. Предпочитаю греков римлянам. У первых были военные училища, беспрестанно и в мире занимались они воинским учением. [115] Римляне беспечно отдавали судьбу армии своим консулам и не умели пользоваться славою». Весьма желал он показать полку своему штурм. На пути встречается монастырь. В пылу воображения тотчас готов у него план к приступу. По повелению его, полк бросается по всем правилам штурма, и победа оканчивается взятием монастыря. Екатерина пожелала увидеть чудака. И сие первое свидание, как он сам говорил, проложило ему путь ко славе.

Об одном русском вельможе говорили, что он не умеет писать по-русски. «Стыдно, — отвечал князь, — но пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски».

Опять явилась в одном периодическом сочинении ругательная статья насчет фельдмаршала, по случаю взятия им Праги. Я не вытерпел, написал противу оной возражение, в котором старался доказать несправедливость [116] пристрастных иностранных писателей, называющих его кровожадным. Штурмы Измаила и Праги сего не доказывают. Обстоятельства предписывали ему оные; и он первый, который проливал слезы на сих обогранных кровию развалинах. Прага была последним оплотом Польши; там лучшие отборные ее войска были сосредоточены и противоборствовали с отчаянною храбростью. И во власти ли военачальника удержать или остановить на таком приступе, каков Пражский, войско, разъяренное буйством и мщением за Варшавский 1793 года бунт? Когда и где штурмы не представляли позорищ лютости, гораздо ужаснейших?.. Эту бумагу прочитал я князю; он поблагодарил за мое, как он назвал, *стряпчество* и сказал: «Припиши то, что в Лафонтеновой басне сказано львице, оплакивавшей убитое свое дитя: *Ma commere! Ceux que vous avez etrangles, n'avaient ils ni pere, ni mere?* Т.е.: Кума! Разве те, которых ты передала, не имели ни отца, ни матери?»

[117] Говорили о неблагодарности одного благодетельствованного князем. Он засмеялся и сказал: «Я замечал, что люди делаются наконец всегда неблагодарными врагами того, с которым не могут равняться, а еще того менее, его превзойти. Чем отдаривает земля небу за благотворные лучи солнца и капли дождя? — Пылью своею».

Князь Суворов и принц Кобургский были истинными, примерными друзьями в продолжение всей их жизни. Князь отзывался всегда об нем в самых лестных выражениях; называл его покорителем Хотина и Букареста, героем при Фокшанах, Мартинести. Он удивлялся его подвигам при Алдергофене и Неервиндене, которыми он освободил Нидерланды. Любил рассказывать, как он взял крепости: Валансиен, Конде, Камбре и Ландреси и простер завоевания свои до Гиза. Но не мог быть равнодушным, когда вспоминал, что англичане, оставив его, остановили его полет и удалились осаждать Дюнкирхен. «Вот, — кричал он, — как губят [118] кабинетные, необдуманые планы!»

Кобургский платил ему полною взаимностию чувств. Князь отдал мне однажды для перевода давнее письмо своего друга. Оно делает честь принцу и тому, к кому оно писано, и потому здесь его помещаю:

«Генерал!

В будущую пятницу я должен с вами расстаться для принятия нового начальства в Венгрии. Ничто не опечаливает меня столько при моем отъезде, как мысль, что должен удалиться от вас, достойный и драгоценный друг мой!

Я познал всю возвышенность души вашей; узы дружества нашего образовались обстоятельствами величайшей важности, и при каждом случае удивлялся я вам, как достойнейшему человеку.

Судите сами, несравненный учитель мой! Сколько сердцу моему стоит разлучиться с мужем, имеющим толикия права на особенное мое уважение и привязанность. Вы одни можете усладить горесть судьбы моей, сохранив ко мне то же благорасположение, которого по [119] сей день меня устаивали, и я уверяю вас со всею искренностью, что частые уверения в вашей ко мне дружбе необходимо нужны для моего благоденствия.

Не могу решиться на то, чтобы проститься с вами лично. Это было бы для меня слишком болезненно. Ссылаюсь в том на собственное ваше чувство. Итак, ограничиваюсь поклясться вам в живейшей моей дружбе. Даруйте мне продолжение вашей, которая была поныне услаждением военной моей жизни. Верьте, достойнейший друг, беспредельной моей признательности. Вы останетесь навсегда дражайшим другом, которого ниспослало мне небо, и никто не будет иметь более вас прав на то высокое почитание, с коим я семь, и проч.

Букарест, 13 октября 1790 г.»

Суворов, говоря о сем своем друге, с восторгом вспоминал, что оба они удостоились получить от Великой Екатерины шпаги с надписью: *Победителю Верховного Визиря*.

Князь Александр Васильевич всегда твердил: «Если желаешь умереть на войне, [120] то надобно желать умереть в деле со славою, как Тюренн». Некто лишился от неприятельского ядра ноги в то самое время, когда он ездил прогуливаться. У него отпилили ногу. Суворов тотчас его посетил, велел к себе принести отнятую ногу, поцеловал ее, заплакал и произнес: «О, драгоценная нога! За какой бесценнок ты пропала!» Также был один ранен пулею в голову, когда выглянул из окошка. Медики по всем анатомическим соображениям почитали его неизлечимым; но он, к удивлению их, выздоровел. «Да, — сказал Александр Васильевич, — медицина ахнула, — а Европа ничего».

В Польскую войну чиновники его проиграли значительную сумму казенных денег. Когда Суворов о том узнал, то шумел, бросался из угла в угол, кричал: караул! караул! воры! Потом оделся в мундир, пошел в кордегардию и отдал стоявшему на карауле офицеру свою шпагу с сими словами: «Суворов арестован [121] за похищение казенного интереса!» Тотчас написал он в Петербург, чтобы все имение его продать и деньги взнести в казну, потому что он виноват и должен отвечать за мальчиков, за которыми худо смотрел. Но Монархиня велела тотчас все пополнить, и написала к нему: «Казна в сохранности». И он возложил опять на себя шпагу.

Князь помнил всегда хлеб-соль. Если к нему кто в первый раз явится, назовет свою фамилию, ему известную, то тотчас начнет доспрашиваться, не родня ли ему такой-то, некогда ему знакомый однофамилец его? И когда откроется, что он представившемуся или отец, или дядя, или брат и проч., тотчас обнимет; если этот родственник жив, то просит писать от него поклон, благодарить за старую хлеб-соль; если же умер, то, перекрестясь, пожелает ему вечного покоя. Однажды отважились сказать ему, что некто, служивший при нем, впрочем, добрый, но весьма ограниченного [122] ума человек,

награждался слишком не по мере своих заслуг. «Да, правда, — отвечал князь, — но он мне предан; а родители его, добрые мои по деревням соседи, удивительные хлебосолы! Лишь явишься к ним — щи, яичница и каша на столе». И тут же, обратясь ко мне, скажет: «Запиши». Это значило: иметь его при награждениях в виду.

Князь потребовал меня к себе в четыре часа пополуночи. Утро было прекраснейшее; воздух самый благорастворенный. Я тотчас пришел; но он уже в поле. Там застаю его одного, стоявшего неподвижно в глубоком размышлении. Увидя меня, он как будто пробудился и начал со мною разговор: «Спасибо тебе, что ты, по-моему, встаешь рано. Я уже окатился водою, упитался небесною росой и теперь согреваюсь благотворными лучами солнца. Теперь я в полноте жизни. Первые поэтические чувства согреты были в груди человеческой, верно, утренними лучами после росы. Теперь идеи и воспоминания у меня освежились. Поле сие [123] представляется мне Рымникским. Смотри туда: вот дерево, на которое я взлез и осмотрел все местоположение; вот сюда, вправо, пошел я, а сюда, влево, Кобургский. Там, вот там, — показав вдали реку, — здравствуй, Рымник! Мы через нее вплавь, — понтоны не нужны. Но что я? В бреду! А ты молчишь... Пора за бумаги». Мы побежали. Тогда не думал я воскликнуть со слезами: о Рымник! Ты; дал имя отцу, а гроб — сыну.

Были достоверные известия, что французская Директория назначила несколько сот тысяч франков за голову Суворова. Когда он о том узнал, то сказал: «Сколько благодарен я за такую высокую оценку! Директория делает сим большую честь бедной моей голове». Но этого недоволен. Намеревались отравить его ядом. Так, в городе Александрии, в доме одного маркиза, у которого граф квартировал, поднесли ему блюдо. Он взглянул на оное и на того, кто поднес. Сей побледнел, затрясся и тотчас с блюдом [124] исчез. После подали ему особенное какое-то мороженое; но он отказался сими словами: «Это нас не удивит: мы из земли мороженой, но с теплыми сердцами». Сего мороженого также никому, кроме его, не подносили, — и тотчас унесли.

Прислана была бумага, в которой излагались правила в руководство Суворову в военных его операциях. В сей бумаге встречались беспрестанно ненавистные ему слова: предполагается, может быть, кажется и проч. Не дождавшись конца, вырвал он ее у меня и бросил. «Знаешь ли, — спросил он меня, — что это значит? Это школьники с учителем своим делают и повторяют опыты над гальванизмом. Все им кажется, все они предполагают, все для них: может быть. А гальванизма не знают, и никогда не узнают. Нет, не намерен я таким гипотезам жертвовать жизнью храброй армии!» Схватя меня, выбежал в другую горницу и заставил одного офицера прочесть десять заповедей. Тот [125] исполнил сие, не запинаясь. «Видишь ли, — говорил он, — как премудры, кратки, ясны Небесные Божий веления!»

Один иностранный генерал хотел дать Суворову почувствовать, что вести войну с французами не то, что с турками и поляками. «Ваше сиятельство, — сказал он ему, — теперь на поприще, гораздо знаменитейшем, нежели когда-либо: ибо народ французский не равняется ни с турками, ни с поляками». «Без сомнения, — отвечал князь, — народ сей превознесся и над английским. Сей хочет владеть всеми морями, а французский, с помощью своих Монгольфьеров и Бланшаров, и воздухом вселенной».

К странностям Суворова принадлежало и то, что он терпеть не мог зеркалов. Везде из

комнат их выносили. На балах, в угодность ему, их закрывали. Если же случалось ему увидеть незакрытое, то тотчас отвернется и во всю прыть проскочит мимо, чтобы себя не увидеть. Однажды [126] только в Херсоне, по усиленной просьбе дам, позволил он поставить в дальней, задней горнице маленькое зеркало, для дам-кокеток (как он называл), куда уже и не входил. Да и дамы, после такого его отзыва, туда не вступали.

Весьма поздно ночью позвал меня к себе Александр Васильевич и велел мне опять сделать извлечение из Истории его, касательно подвигов его во время Польской Конфедерации, с тем подтверждением, чтобы написать как можно сокращеннее. Я сказал, что напишу, как умею; впрочем, не отвечаю, если описание будет пространно. «Ибо, — заключил я, — вольно было Вашему сиятельству не сокращать ваших подвигов и умножать листы Истории». Здесь помещаю оно:

### **Подвиги Суворова в Польскую Конфедерацию**

Через шесть лет, по окончании военных действий в Пруссии, произведен он в бригадиры и отправлен [127] с величайшею поспешностью в Польшу, где возникла война конфедератов. Ему должно было переправляться чрез едва замерзшие реки и болота. И в течение месяца прошел он тысячу верст (238 миль), а в другом походе 600 верст в 12 дней. Первый подвиг его в Польше был схватить ночью уланов Пелиаки и Корсинского, расположенных в окрестностях Бресции, и, без пролития крови, отделил он оба полка от Конфедерации.

Близ Варшавы разбил он Котелуповского, пошел на обоих Пулавских, разбил и рассеял их войска, состоявшие из 6000.

В генваре 1770 года, на сороковом году, произведен в генерал-майоры.

В апреле Суворов, переправясь с двумя ротами, тремя эскадронами и двумя пушками, пошел ночью к Клементову. Он встречается с Мосчинским, расположившим тысячу человек конницы близ лесу в боевой порядок, с шестью пушками. Две роты пехоты со штыками нападают на сию кавалерию, которая, невзирая на беспрестанную пальбу из шести орудий, была разбита и [128] преследуема. Поляки потеряли свою артиллерию и 300 человек, а русские — только 50.

В половине того же лета, когда Мосчинский получил подкрепление, Суворов разбил его вторично при Опатове, побил 200 человек и взял столько же пленных, большею частью раненых. Спустя несколько месяцев, Суворов, желая переправиться через Вислу в таком месте, где стремление было быстрое, упал в воду и разбил себе грудь об понтон так сильно, что три месяца лежал болен. В сем году получил он орден св. Анны.

По выздоровлении, в марте 1771 года, выступил он из Дублина с четырьмя ротами пехоты, несколькими пушками и с пятью эскадронами и переправился чрез Вислу у Сендомира. По разбитии разных партий конфедератов, атаковал он Ландскрону, в четырех милях от Кракова. При сильном сопротивлении овладел городом. Но ружейный огонь не умолкал и побивал многих, и он отказался от взятия замка. У него шляпа и мундир были прострелены пулями. [129]

Вскоре за сим взял он врасплох город Казимир, расстроил большую часть конфедератов и взял в полон лучший эскадрон маршала Сабы.

Рассеяв конфедератов, которые несколько дней осаждали три роты его полка в Краснике, он пошел на Краков для освобождения принца Веймарского, там стесненного. Малочисленная армия его состояла: из четырех рот гренадерских, одного батальона мушкетер, восьми пушек и нескольких гаубиц, пяти эскадронов карабинер и 80 казаков.

Он имел разные сшибки с конфедератами и взял многих в полон. Войско его

переправилось чрез реку Дунаец вплавь по шею; атаковали конфедератов, превосходивших их в числе. Они были разбиты и потеряли много людей.

По прибытии в Тынец, в расстоянии на одну милю от Кракова, велел Суворов напасть на редут, в котором находились две пушки и сто человек, которые все были побиты; потом казаки его отважно бросились на [130] конфедератов, которые, числом около четырех тысяч, поставлены были в боевой порядок. Во фронте находились 150 егерей, под начальством французского майора. Они большею частью истреблены. Поляки, преследуемые Российской кавалериею до пределов Шлезии, потеряли 500 человек убитыми и 200 пленными. В то время французской службы полковник Дюмурье, со многими своими офицерами, служил у конфедератов.

Суворов, возвращаясь после сер экспедиции в Дублин, был атакован драгунами и гусарами конфедератов. Его конница приняла их саблями и сильно отразила. Между тем Пулавский, с двумя тысячами, занял Замоцк. Весьма нужно было его оттуда выгнать; и когда Суворов в сем намерении выступил к нему, Пулавский его встретил; но во время, как становился дать баталию, Суворов совсем неожиданно кидается с своею кавалериею на его инфантерию; неприятель был опрокинут: потеря его состояла в 200 пленных и столько же убитых. По возвращении в Лублин, получил [131] он орден св. Георгия третьей степени.

Суворов был в необходимости рассеять свои войска, для предупреждения в разных местах усиливающихся неприятельских скопищ. Это послужило полковнику Новицкому поводом поспешить нападением на него. Суворов, узнав, что он с тысячею человеками лучшей кавалерии идет на Красноставу, где у него стояли: эскадрон кирасир, несколько казаков и рота пехоты, велел его тревожить на пути; а сам, с шестью казаками и несколькими офицерами, пустился в Красноставу к своим. Новицкий был в соседственном лесу, Суворов достиг его. Конфедераты побили много наших; но наконец, после упорного сопротивления, неприятель был рассеян и преследован.

В августе 1791 года явился в Литве известный Козаковский, один из конфедератов, бежавших в Венгрию. С поспешностию объехал он герцогство, набрал новых партизанов и возжег пламя раздора, а особливо между регулярными войсками, которые склонил [132] к возмущению. Он рассеивал манифесты, в которых скромно называл себя Литовским гражданином.

Великий маршал Литовский, Огинский, командовал новыми конфедератами. Он внезапно напал на русский батальон, который после сражения, чрез четыре часа продолжавшегося, должен был сдаться.

Как скоро Суворов о том узнал, спешил он к нападению на конфедератов, занимавших выгодную позицию при Сталовичах. Их было пять тысяч в ружье, с 12 пушками. Русские приступали ночью с величайшею тишиною и перехватили передовые караулы.

Пушечный выстрел конфедератов уверил наших, что они замечены. Тотчас рота бросилась на неприятеля; она потеряла много людей, но имела также и великие успехи. Три эскадрона шли по следам сих храбрых, поражая саблями справа и слева.

Конфедераты, приведенные в замешательство, при ночной темноте были опрокинуты и прогнаны до города. Триста янычар великого маршала Огинского положили тут свои головы. [133]

Пятьсот человек русских пленных содержались под стражею в (разных домах близ рынка. При шуме оружия, а более при гласе (Суворова, выскочили они из окошек и соединились с своим отцом и героем.

На рассвете Суворов выступил из города с своею пехотою. Она напала на инфантерию Огинского с правого крыла. Его кавалерия одерживала уже значительные выгоды. С обеих

сторон сражение продолжалось с жестокостью и кровопролитием. Наконец инфантерия двинулась со штыками; поляки были разбиты по всей линии. Но, по многочисленности своей, отступали они в порядке.

Кавалерия российская не переставала с своей стороны распространяться, как генерал Беляк, стоявший в полмили и намеревавшийся отомстить за польскую пехоту, сделал с тысячею уланов стремительное нападение. Многие русские были опрокинуты, но отважность казаков, которые в сей день показали чудеса храбрости, заставила Беляка оставить поле битвы. [134]

Из 800 до 900 человек, бывших у Суворова под ружьем, около 80 были убиты, а все остальные ранены. Суворов, тронутый посреди славы их несчастьем, раздавал из своего кармана по рублю на каждого, участвовавшего в деле; дал им с час отдохнуть и начал делать диспозицию к походу на Слоним, отстоящий в восьми милях от места сражения.

У поляков было убитых около тысячи человек. Русским достались 700 пленных, в числе которых и маршал Огинский и более 30 офицеров. Все лошади их драгун достались нашим, так как и многие знамена, экипажи и казна с тридцатью тысячами червонных. Солдаты делили между собою множество золота и серебра.

К вечеру все были близ Слонима. Оставив там пленных и большую артиллерию, Суворов еще в ту же ночь вступил в поход к Пинску, в намерении рассеять еще более конфедератов. Первая встреча была у него с польским офицером, которому поручено было вести богатую полковую [135] казну. Суворов, как великодушный неприятель, дал ему пашпорт для свободного препровождения казны до места его назначения.

Желая не столько побеждать, сколько преклонять к покорности, он уговаривал литовских конфедератов возвратиться в свои дома. Он принимал с особым уважением тех, которые вверяли себя его великодушью, и вскоре повсюду восстановился порядок.

С самого вступления показал Суворов, что к военным талантам умел он присоединить дух примирения; ибо прекращал тогда возмущения и раздоры.

Таковые успехи обратили на него Монаршее благоволение, и Ее Величество препроводила к нему знаки ордена св. Александра Невского, при лестном рескрипте.

В генваре 1792 года польские конфедераты, направляемые бароном Виоменилем, взяли Краковский замок, в котором стоял пикет из тридцати русских. Суворов, узнав о их намерении, пустился тотчас в поход для отражения сего удара. Он опоздал; едва на рассвете вступил он в город, [136] как ему должно было сразиться с сильною вылазкою конфедератов, которых число в замке простиралось до 900 человек. Тотчас Суворов начал с 800 пехоты и несколько числом кавалерии блокировать замок; и едва не попался и сам, так сказать, в блокаду, быв окружен конфедератами, которые твердо боролись. Он с ними выдержал несколько сражений и оставался всегда победителем. Наконец блокада обращена была в штурм.

Суворов приказал объявить французским офицерам, командовавшим в замке, что все готово к штурму и что, при отказе в сдаче, весь гарнизон без пощады будет истреблен. В заключенной тотчас капитуляции сказано было, что весь гарнизон отдает оружие и выступает в мундире, что французские войска под начальством Виомениля будут отправлены в Лемберг, а под начальством Дюмурье — в Биалу. Польские же конфедераты — в Смоленск. Виомениля и Дюмурье не было в замке. Два бригадира, Галиберг и Шоази, так как и другие французские офицеры, отдавали свои шпаги Суворову; но он не принял, [137] под предлогом, что они в службе Государя, союзника его Императрицы, и обнял их.

Пленные отправились под сильным прикрытием; и хотя у Суворова оставалось мало войска, но он успел еще напасть и схватить гарнизон в Заторе, городе в 12 милях от Кракова. Он велел взорвать все укрепления и взял 12 пушек.



В сие время австрийцы и пруссаки выступили также против конфедератов; и кончили войну, продолжавшуюся четыре года. Суворов получил начальство в Финляндии.

После сего никаких извлечений я не делал; а князь намеревался заняться сим со мною в деревне Кончанске. Но Провидение распорядило иначе. Он скончался в Петербурге.

Приехавший из Неаполя курьером, офицер рассказывал о тамошних прелестях природы, о ужасах Везувия, о землетрясениях.

«Был ли ты, — спросил Александр Васильевич, — в Помпее, которая после столь многих столетий [138] сбросила с себя погребальное свое покрывало и выглядывает из своего гроба?». «Был», — отвечал тот и начал рассказывать много любопытного. Выслушав со вниманием, обратился ко мне с сими словами: «Люблю слушать повествования от самовидцев. Сыщи описание о Помпее Старшего Плиния и переведи для меня». Чрез несколько дней отыскал и прочитал я ему следующий перевод с латинского: «Плиний пишет: «Настал мрак, но не такой, какой бывает в безмесячной ночи, а темнота в запертой горнице, в которой свет свеч вдруг угасает. Жены рыдали, дети визжали, мужья вопияли. Здесь призывали с трепетом дети родителей своих, там отцы и матери искали детей своих ошупью, мужья своих жен; все узнавали друг друга только по крику. Одни жаловались на собственную судьбу свою, другие оплакивали судьбу ближних своих. Многие желали смерти от страха смерти. Те умоляли богов о спасении, те отчаивались в существовании их и почитали сию ночь последнею, вечною всего мира. Действительные опасности были [139] увеличены вымышленным страхом. Земля тряслась непрерывно, и полоумные толпились, умножая ужас других своими предвещаниями».

Тут Суворов содрогнулся и с чувствительностью воскрикнул: «О, человеки осьмнадцатого столетия! Вы ползаете по развалинам давно прошедших веков, говорите о тленности и разрушении вещей, а поступаете, как будто бы этого и не было».

Суворов жил для России. Слава чудо-богатырей была близка к его сердцу. «Люблю их, — говорил он по переходе чрез Альпийские горы, — с сими чудо-богатырями наделал я вихри, с ними прилетел от Рымника сюда». Потом, обратясь к войску, продолжал: «*Штыки, быстрота, внезапность* — вот наши вожди. Неприятель думает, что ты за сто, за двести верст; а ты, удвоив, утроив шаг богатырский, нагрянь на него быстро, внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля; а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него как снег [140] на голову; рази, стесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться: кто испуган, тот побежден вполонину; у страха глаз больше, один за десятерых покажется. Будь прозорлив, осторожен; имей цель определенную. Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед; поравняйся, обгони — слава тебе! Я выбрал Кесаря. Альпийские горы за нами — Бог пред нами: ура! Орлы русские облетели орлов римских!»

«Знаешь ли ты, — спросил он вдруг вошедшего к нему генерала Милорадовича, — трех сестер?» «Знаю», — был ответ. «Так, — подхватил Суворов, — ты русский; ты знаешь трех сестер: Веру, Надежду и Любовь. С ними слава и победа, с ними Бог!»

Суворов весьма любил в мирное время заниматься маневрами. Знатоки-очевидцы отдавали справедливость редким его в военном искусстве знаниям и хитрым замыслам. Он, по отзыву [141] генерала Дерфельдена, доходил до педантства, но до педантства полезного и похвального. Так, усмотрев на маневре в Финляндии, что поставленная в

резерве колонна теряет время и на помощь идти не думает, — прискакал к командовавшему ею подполковнику и кричал: «Чего ты ждешь? Колонна пропадает, а ты не сикурируешь». «Ваше сиятельство! — отвечал подполковник. — Я давно бы исполнил долг мой, но ожидаю повеления от генерала, предводительствующего сею колонною». Сей генерал-майор находился тут же в нескольких сажнях. «Какого генерала? — сказал Суворов. — Он убит, давно убит! Посмотри (указывая на него) вон... и лошадь бежит — поспешай!» — и ускакал прочь.

Когда под Нови Суворову сказали, что одним отрядом французских войск командует польский генерал Домбровский, сказал он: «Ах! как я рад. Это знакомый. В польскую войну сей мальчик-красавчик попался в полон. Я его тотчас отпустил к маменьке, сказав: беги скорее домой — и [142] мой поклон, а не то русские тотчас убьют. Как бы я хотел возобновить с ним знакомство!»

Говорили о Праге. Один союзный генерал показал вид, будто взятие ее не есть дело очень важное. Александр Васильевич, заметя сие, тотчас велел мне перевести из Суворовиды Завалишина примечание о ее укреплениях, прибавя к тому, что хотя оно и кратко, но справедливо, потому что подполковник Фанагорийского гренадерского полка Завалишин был действующим лицом и очевидцем. Здесь помещаю: «Прага, предместье Варшавское, лежащее на правом берегу реки Вислы. Она была укреплена всем тем, что военное зодчество имеет в себе наинепреоборимейшего. Высокие валы с глубокими рвами; бермы, усыпанные штурмфалами; крутости, повсюду дерном одетые, усеянные тройными палисадами; батареи, камнем обложенные; кавалиеры, на возвышениях поделанные; отступные флешы, ретираду обеспечивающие; двойной окоп, в перекрестных огнях расположенный; наконец [143] шестерной ряд волчьих ям с заостренными спицами, вокруг всех укреплений обнесенный; более ста ревуших орудий и 30000 отважного решительного войска — все сие пало и превратилось в прах разящим мечом Сарматского победителя. Упорная оборона соответствовала быстроте атаки. Каждое укрепление надлежало брать приступом. Каждый шаг земли надобно было приобретать кровию. Польские войска по сбитии передних ретраншаментов устроились в боевой порядок перед вторым окопом. Надобно было их атаковать; тут последовала полевая баталия. Начальники их, сохраняя присутствие духа, не переставали собственным своим примером поощрять своих подчиненных к усугублению обороны и тем, противопоставляя беспрестанно новые преграды, вдыхали отважность в сердца, с каковою Сарматы, имевшие в тылу своем трепещущую от страха Варшаву, сражаться в продолжении всего боя не переставали. Всякое другое ополчение едва ли бы превозмогло столь сильное и отчаянное защищение; но россияне, предводимые Героем, [144] пылающие истинною любовью к отечеству, подвизаясь по следам непобедимого своего военачальника, славою его озаряемые, мужеством его дышащие, сокруша Сарматские силы, показали изумленному свету, что под предводительством графа Суворова-Рымникского нет ничего для них невозможного. Четыре генерала: Ясинский, Корсак, Квашневский и Грабовский, с 13540 воинами, погреблись под развалинами изпровергнутой Праги. Генералы Меин, Гизлер и Крупинский, с 5 полковниками, 7 подполковниками, 17 майорами, 4130 офицерами и 14000 рядовых, взяты были в плен. До 2000 потонуло в Висле; и не более 1000 человек из всего числа оборонявших спаслось в Варшаву. 104 пушки, множество знамен, костры холодного оружия — суть вечный памятник сего бессмертного дела, заключающего в себе штурм на крепость и полевое сражение, оконченного в продолжение 3 часов времени, в 1794 году октября 24 дня воспоследовавшего», — прочитав, казался он недоволен хвалою, до него относящеюся, и [145] сказал: «Ну, отправь к Фоме». И я отослал к помянутому генералу.

Князь Александр Васильевич любил все русское, внушал любовь к родине и повторял нередко: «Горжусь, что я россиянин!» Не нравилось ему, если кто тщательно старался подражать французам в выговоре их языка и манерах. Такого французоватого франта спрашивал он: «Давно ли изволили получить письма из Парижа от родных?» Еще в бытность его в Финляндии, один возвратившийся из путешествий штаб-офицер вывез из Парижа башмаки с красными каблуками и явился в них на бал. Александр Васильевич не отходил от него и любовался башмаками, сказав ему: «Пожалуй, пришли мне башмаки для образца вместе с изданным в Париже вновь военным сочинением Гюберта (Guibert)». Последним не успел наш молодец там запасть и убрался с бала. Также сказал он теще на французском языке: «Читай и говори по-французски так, чтобы все знали, что ты русский». [146] А когда в театре итальянский актер говорил ему пролог, то он кричал по-русски из ложи: «Напрасно, сударь, не беспокойтесь, стою ли я того?» Не буду говорить, какую тревогу, кутерьму произвели русские слова сии на всю итальянскую публику — буффу. И воздух наполнился восклицаниями: «Ewiva nostro Liberatore!», т.е. да здравствует наш избавитель! — «Пусть они знают, что здесь были русские», — сказал он.

В одном анекдоте говорил я, что граф часто приказывал мне иметь надзор за карточными играми. Таковая, истинно отеческая, заботливость его нигде так не оправдывается, как здесь, в Италии, где зло сие сделалось стихиею всей первостатейной, праздною, необразованной знати. В Турине был я приглашен на вечер, что здесь называется *conversazione* (*беседа* (*ит.*)). Полагая насладиться приятною беседою, отпросился я у моего начальника. Он позволил мне, с тем, чтобы я пересказал ему о всех подробностях [147] сей вечеринки. Я отправился с вожатым моим, почтенным, бывшим при Дворе Екатерины чрезвычайным посланником и воспоминавшим всегда с восторгом о пребывании своем в России. Дорогою сказал он мне: «Я везу вас в дом одной знатнейшей нашей дворянской фамилии; но должен признаться и предvarить вас о том, чего вы и не думаете, и в Петербурге, — благодарение утонченной образованности вашей, — не видали и, конечно, не пожелаете никогда более увидеть. Но вы путешественник; вам надобно быть очевидцем». Мы вступили в залу. Я представился хозяину и хозяйке. Принц и принцесса пробормотали что-то, и я — уже домашний человек. Музыка гремела; не танцевали, а прыгали, и то нехотя. Чего-то ожидали важнейшего. Чрез час музыка прекращается; у всех на лицах радость; свечи в зале погасают, все бегут в другие горницы, где несколько столов с картами и с плетеными склянками ликера розолио. Начали играть в банк, фараон и другие азартные игры: коммерческих они не [148] знают. Но как я удивился, когда за сими столами увидел: старушек, покрытых морщинами, изнемогающих, держащих карты дрожащими костяными своими руками, но с прездоровыми языками; прелестных в цвете лет дам, у которых при проигрыше выступал на розовых щеках румянец гнева, бешенства и ярости, а иногда бледность отчаяния. И зеркала их не укрощали. Вначале была безмолвная тишина, так что, когда какой-то кавалер хотел мне рассказать нечто о Турине, все зашикали — и он, не кончив, тотчас умолк. Но после, в продолжение игры, когда слепая фортуна раскидала дары свои по столам — одному грудами, а другому ничего, кроме нищеты, — возник ропот, крик, остервенение. Если два спорящие итальянца криком своим угрожают разорвать ваш тимпан, то вы можете себе представить гром нескольких сотен, прерывающийся несносным визгом дам. На сие немалое влияние имел и розолио, который особы обоего пола вкушали беспрестанно в горницах, где от спершегося [149] воздуха едва можно было дышать, а свечи тускло горели и угасали. Тут раздавались слова, какие едва ли услышишь в другом месте. И это называют конврсациони, беседы дворян? Бегу из неприятного дома. Я здесь не увеличиваю: в сем оправдают меня путешественники.

На возвратном пути домой рассказывал мне сопутник мой, что этот хозяин дома,

Принчине, был на замечании у короля, который предостерегал иностранцев, в бытность в Турине, от опасного с ним знакомства; что он в паю со всеми игроками и оттого имеет весьма значительный доход. На вопрос мой, часто ли бывают такие конверсациони, отвечал он: 365 раз в году. «Ибо, — продолжал он, — многие земляки мои ничего не читают, ничему не учились, ничего не знают, кроме прогулки, театра и игры. Чернь же здешняя гибнет от несчастного лото. Нищий несет в лотерею последний грош, полученный в милостыню, и умирает с голоду. Я кончил тем: «И это называют здесь: *dolce far niente?*» (*сладостное ничегонеделание (ит.)*) [150]

Все сие пересказал я Александру Васильевичу. И после всего спросил он меня: «У европейцев ли ты был?»

Александр Васильевич любил отменно итальянские простонародные песни и находил в них какое-то сходство с русскими, а особливо, если итальянец поет вдаль, в чистом поле. Тогда внезапно переселяешься в Россию. Надобно только зажмуриться, иначе оливные и лимонные деревья разрушат такое очарование. Обеих наций народные мелодии происходят от древних греческих, что тотчас услышишь, когда сравнишь с греческими отрывками, которые сохранил Винкельман, как замечает и Коцебу. Граф предпочитал пение всем инструментам, называя инструментальную музыку подражанием вокальной, и имел всегда при себе ноты духовным концертам, которые пел с певчими на клиросе.

В Италии на театре дана была пьеса, на которой представлены буффонады [151] и войско должно было делать разные военные эволюции. Оно превзошло всякое ожидание. Стройность, размеренные шаги, точность в движениях — все восхитило зрителей. Александр Васильевич, говоря о сем представлении, сделал свои замечания: «Нет, комедь мне не нравится; старик-шут газрил скоромно; нравственной цели не вижу: вся пьеса из лоскутков, как и арлекинское платье. Солдаты дрались храбро; зачем не показали они такого проворства против французов?»

Однажды приказал мне Александр Васильевич отыскать в бумагах его диплом на чин фельдмаршала. Я отвечал, что отыскивать нечего, потому что его нет. «Как! — вскрикнул он, при многочисленном собрании. — По чему же будут меня почитать и признавать фельдмаршалом?» Вот мой ответ: «Ваше сиятельство донесли Императрице: ура! Варшава наша! Ответ: ура! Фельдмаршал! Екатерина. Вслед за сим удостоились вы получить от Монархини следующий Высочайший [152] Рескрипт: «*Вы знаете, что как Я не произвожу, никого чрез очередь и никогда не делаю обиды старшим: но вы, завоевав Польшу, сами сделали себя фельдмаршалом.*» — «Расскажи, — продолжил он, — все это на всех языках; а я покамест умоюсь, пополощусь и поговорю по-турецки». И ушел.

О бескорыстии князя говорить излишне; но я почел за нужное истребовать от цалмейстера Российской армии, майора Раевского, I справку, в которой за подписанием своим свидетельствует он аless'дующее: «Генваря 16 дня 1800 года, генералиссимус в Праге получил жалованье по чину генерал-фельдмаршала и во все время последней кампании никогда не брал ни столовых денег, ни прогонов. Да и сие жалованье принять его принудили, потому что не было ни копейки на домашние его расходы».

В одном городе, помнится в Пиаченце, вбегает к графу генерал-лейтенант Повало-Швейковский, страстный [153] любитель живописи, упрашивает его взглянуть на

оригинальную картину Рафаэля в картинной галерее, за две комнаты от него. Александр Васильевич отвечал: «Хорошо, пойду; но всегда смеюсь я над легковерием вашим, господа дилетанты; в России, во Франции, Англии, Германии, Италии, во всяком несколько значительном городе Европы показывают оригиналы Рафаэля. Если бы он и в каждую неделю изготовлял по картине, то и тогда не мог бы выставить такого запаса; а он, к сожалению художеств, умер в цвете лет. Это шампанское вино, которое во всех пяти частях света пьют за Шампанское, а малая Шампания едва ли может оным продовольствовать и одну Францию. — Не приносили ли в жертву славе великого учителя сего и ученики его таланты свои? Мы видим в картинах его не одну и ту же кисть». После того не пошел, а побежал он в галерею. Там остановился пред одною огромнейшею копией. Долго на нее смотрел и Произнес: «Это величина, но не великое, — не величественное: я вижу не Александра, [154] а юношу красавца, и не героя, принимающего падающую пред ним пленную Царицу: подвиг великодушия, торжественнейшая минута во всей его Истории! В чертах лица его сей души его не вижу». Хозяин дома, удивленный многими рассуждениями о живописи, вскрикнул с итальянским жаром: «Если Ваше сиятельство рассматриваете и разбираете так и планы ваших батальи, то неудивительно, что победа с вами неразлучна».

Должно признаться, что кампания наша в Италии и Швейцарии отличалась от всех предшедших своими двумя театрами. Италия усеяна останками древнего ее величия, которые противоборствовали векам и устояли от всеразрушавшего нашествия варваров. Готфы сокрушили памятники ее. Хищная Беллона новых вандалов не пощадила и последних ее сокровищ; но не стерла она ее с лица земли: везде является картинная ее природа; и на очаровательных полях ее срывали наши [155] воины ярко зеленеющие лавры. Какие видели мы разительные явления! И каждый из нас сожалел от восторга, зачем не живописец! — На Альпах какая противоположность! — там прелестны прелести ужасов — под ногами могилы. У подошвы одной превысокой крутой горы стоял Суворов, безмолвно и неподвижно смотрел: как армия подымалась, карабкалась *гусем*; как по мере возвышения воины уменьшались, а достигшие вершины казались точками, в тумане исчезающими; как с высоты сего колосса ревел водопад и низвергался с своими паровыми тучами и густым водяным дымом, в которых солнце золотыми лучами рисовало многоцветную раду. Такое волшебство оптики исторгло из сердца старца отголосок всего войска: «Зачем я не живописец? Подайте сюда сухопутного Вернета, который бы увековечил сие единственное, быстро пролетающее мгновение теперешнего бытия нашего!»

Но где его взять? Надобно, чтобы он был и живописец, и поэт, чтобы родил в душе и цепенеющее удивление [156] и чувство! Какая кисть перенесет на холодный холст сие порывающееся на смерть воинство, забывающее теперь, что оно смертно? Как изобразит она сии, с каждым шагом изменяющиеся, декорации здешнего чудесного мира; и какая кисть, в руке и вдохновенного смертного, удобна обнять таковую огромность природы, со всеми бушующими ее стихиями? Довольно — мы перешагнули Альпы!

Говорили о бывшем вступлении в Рим французского генерала Бертье и о грабительствах и злодеяниях там республиканцев-французов. Александр Васильевич, вздохнув из глубины сердца, произнес «Если бы я вступил в сию столицу мира, то строго запретил касаться памятников, святотатствовать. К ним должно благоговеть. Они торжество древности, а нашего века — отчаяние. Но велел бы срыть до основания ту башню, которая, как мне сказывали, стоит близ садов Мецената, где Вергилий и Гораций песнями своими обессмертили сего покровителя [157] своего. С сей-то башни чудовище Нерон тешился вожженным им пламенем Рима и воспевал на арфе пожар Трои. Память такого исчадия

ада должна изгладиться навеки». Суворов! Ты не видел пожара твоей колыбели, не видел наших дней — Нерона в священном Кремле!

Александр Васильевичу не нравилось, что все надписи на новейших памятниках в Италии и Германии на латинском языке, и сделал сие замечание одному ученому итальянцу. Тот утверждал, так как слова надписей должны помещаться на тесной каменной доске, то латинский язык, по краткости и силе своего слога, сего приличнейший и назван лапидарным от слова: lapidarius, камень. Но вот ответ графа: «Вы хотите памятниками обнародовать, воскресить событие умершее; зачем же не живым языком? А Вы, вместо того, похороняете оное в мертвом. Несколько тысяч дан проходят, позевывают и уходят, не узнав, кому и за что это [158] сооружено. Только десяток латынщиков глубокомысленно рассматривают. Латинский язык имел свои эпохи, когда все европейцы ему учились. Теперь каждый народ имеет свой. И русский наш лапидарный: «Петру Первому Екатерина Вторая»».

По окончании итальянской кампании генералиссимус поручил мне сделать историческое обозрение всех военных ее событий. Я извлек оное в хронологическом порядке из военного журнала, который по Высочайшему повелению вел при армии, и заключил следующими словами: «Так знаменито оканчивается война сия. Она раскрыла всю пользу наступательной системы и холодного ружья Суворова. Он первый показал также, что крепости не остановить полета победителя; что, разбив с быстротою неприятеля, надобно уметь пользоваться победою и, преследуя его неутомимо, не дать ему времени опомниться. Война сия научила наконец людей противостоять силам природы и презирать все стихии разрушения. Ни [159] трескучие морозы, ни громовые низвержения ледяных, земляных и каменных глыб, ни неприступность крутых гор не удерживали парения воинственного духа. Вечно лучезарные вершины альпийских колоссов забагрели кровию, и Суворов, подобно Агезилаю, может воскликнуть: «Пределы России на концах штыков русских!» Он воскликнул: «Напрасно; это дело потомства». Я отвечал: «Пусть современники передают высокую славу своего века грядущим столетиям». Он умолк.

Один офицер, кроме воды, ничего не пил, но был пренесносный, пустой болтун. Князь прозвал его Водопьяновым и сказал: «Он пьет одну воду, но и без хмелю колобродит пуще пьяного. Зато есть у меня приятель К..., который, в духе ржаных и виноградных соков, поет Гомером и воспел Велизария». Сим именем называл он иногда себя.

[160] После Новийского сражения вхожу я к фельдмаршалу для получения приказа писать реляцию. Он с восторгом восклицает:

Конец — и слава бою!

Ты будь моей трубою.

Князь, заметя одного иностранца, казавшегося приверженным французской революции, сказал ему: «Покажи мне хотя одного француза, которого бы революция сделала более счастливым? При споре о том, какой образ правления лучше, надобно помнить: что руль нужен, а важнее рука, которая им управляет...».

Один офицер, впрочем, достойный, нажил нескромностию своею много врагов в армии. Однажды граф позвал его к себе в кабинет и изъявил ему сердечное сожаление, что имеет

одного сильного злодея, который ему много, много вредит; тот начал его спрашивать, не такой [161] ли Н.Н.? Нет, отвечал Александр Васильевич. Не такой ли граф Б.? Опять ответ: нет. Наконец, с трусостью, чтобы никто не подслушал, запер дверь он ключом. «Теперь, — сказал он ему тихонько, — высунь язык, вот — твой враг».

Князь Николай Васильевич Репнин отправил к Суворову с поздравлением майора, ему преданного и пребойкого. Александр Васильевич, приняв его превежливо, старался всячески уловить его в немогузнайстве, но никак не успел в том. На вопросы, сколько на небе звезд? Сколько в реке рыб? — сыпал тот миллионы. Наконец делает ему вопрос: «Какая разница между князем Николаем Васильевичем и мною?» Ответ затруднительный, но майор не теряет присутствие духа и отвечает: «Разница та, что князь Николай Васильевич желал бы меня произвестъ в подполковники, но не может; а Вашему сиятельству стоит лишь захотеть». Это фельдмаршалу так понравилось, что он его тут же, по данной ему власти, поздравил с сим чином. [162]

Во всю жизнь свою не давал Александр Васильевич никогда никому унижить себя или, как говорил он, наступить себе на ногу. «Я, — продолжал он, — иногда растение *Noli me tangere*, т.е. не трогай меня; иногда электрическая машина, которая при малейшем прикосновении засыплет искрами, но не убьет». В доказательство сего прилагаю здесь достоверный анекдот из «Духа Журналов». По взятии графом Суворовым Измаила князь Потемкин ожидал победителя в Яссы. Желая сделать ему почетную встречу, князь велел расставить по дороге нарочных сигнальщиков; а в зале, из которой видно было далее версты на дорогу, приказал смотреть Боуру, чтобы как скоро увидит едущего графа, немедленно доложил бы князю: ибо о выезде его из последней к Яссам станции дано уже было знать. Но Суворов, любивший все делать по-своему, приехал в Яссы ночью и остановился у молдаванского капитан-исправника, запретивши ему строго говорить о приезде своем. На другой же день, часу в десятом поутру, севши в молдаванский берлин [163] (похожий на большую архиерейскую повозку), заложенный парюю лошадей в шорах; кучер на козлах был молдаван же, в широком плаще с длинным бичем; а назади лакей капитан-исправника, в жупане с широкими рукавами. И в таком великолепном экипаже поехал к князю. Дорогою никто из наблюдавших его не мог подумать, чтоб это был Суворов, а считали, что едет какая-нибудь важная особа. Когда же въехал он к князю на двор, то Боур, увидя из окошка, побежал к князю доложить, что Суворов приехал. Князь немедленно вышел из комнат и пошел по лестнице, но не успел сойти три ступеньки, как граф был уже наверху. Потемкин обнял его, и оба поцеловались. При князе был один г. *Боур*, а мы стояли в дверях и смотрели. Князь, будучи чрезвычайно весел, обнимая графа, говорил ему: «Чем могу я вас наградить за ваши заслуги?» Граф поспешно отвечал: «Нет, Ваша Светлость! Я не купец и не торговаться с вами приехал. Меня наградить, кроме Бога и Всемиловитивейшей [164] Государыни, никто не может!» Потемкин весь в лице переменялся, замолчал и вошел в залу, а за ним и граф. Здесь подает ему граф рапорт; Потемкин принимает оный с приметною холодностью; потом, походя по зале, не говоря ни слова, разошлись: князь в свои комнаты, а Суворов уехал к своему молдавану, — и в тот день более не видались.

Жаль, очень жаль, что множество писем князя Александра Васильевича к покойному генерал-поручику Петру Ивановичу Турчанинову, к адмиралу де Рибасу и многим другим особам, имеющие на себе печать оригинальности, остаются под спудом и только в искаженных копиях переходят из рук в руки. Сими бесценными сокровищами обладает почтеннейший племянник его, граф Дмитрий Иванович Хвостов. От него ожидает публика сего подарка; он один, зная обстоятельства тогдашнего времени, может раскрыть

тайны сих полезных иероглифов и показать нам сего Героя, и на письме ни на кого не похожего. [165]

Я поместил в Истории Российско-австрийской кампании 1799 года всю тогдашнюю его переписку, а здесь помещу два его лаконизма в письмах:

Письмо 1

Поле, один мой элемент! А — теперь выглядчик из-за кулисы на триумф Терситов...

Письмо 2

(Ответ на кончину князя Потемкина)

Се человек!.. Образ мирских сует!.. Беги от них мудрый!

Князь, как всем известно, любил забавляться странными вопросами; а удачные ответы его веселили. Однажды спросил он встретившегося с ним: «Далеко ли отсюда к небу?» Ответ: «Два суворовских перехода». И Суворов расцеловал его. Также спросил он в трескучий мороз стоявшего на часах: «Сколько на небе звезд?» Тот отвечал: «Сейчас перечту, — и начал: — Раз, два, три, и т. д». Когда он насчитал до тысячи и более, тогда Александр [166] Васильевич, сильно прозябнув, спросил его имя и ускакал. На другой день он унтер, — и Суворов сказал: «Нет, он меня перехитрил».

Генерал-поручик и начальник Инженерного департамента при покойной Екатерине, Тючков, поздравлял Суворова с победами и между прочим заметил, что он не присылает по обязанности своей карт и планов сражениям в его департамент. Он признался, что виноват. Тотчас вынес большую карту Европы, свернутую в трубку; возложил ее на плечо, как ружье; отдал ей честь к ноге и положил ее к стопам Тюčkова.

Случились у Суворова: Дерфельден, австрийский генерал Карачай и еще некоторые, служившие с ним в Турецкую войну. Граф начал с Карачаем говорить по-турецки; тот отвечал ему с великим трудом, извиняясь, что позабыл. Наконец, после многих разговоров, спросил он: «Зачем не взяли [167] мы тогда Константинополя?» Карачай отвечал, смеючись, что это было не так-то легко. «Нет, — возразил Суворов, — безделица! Несколько переходов при унынии турков — и мы в Константинополе; а флот наш — в Дарданеллах». Тут остановили его Карачай и Дерфельден напоминанием о трудностях пройти их. «Пустяки, — отвечал он, — наш Елфинстон в 1770 году с одним кораблем вошел туда; не удостоил их и выстрела; посмеялся этой неприступности музыкою на корабле и возвратился, не потеряв ни одного человека. Знаю, что после барон Тот укрепил Дарданеллы. Но турецкая беспечность давно привела их в первобытное бездействие. Прочитайте описание о сих Дарданеллах Еттона, бывшего долгое время английским резидентом при Порте Оттоманской, и вы разуверитесь. Наш флот там был бы. Но миролюбивая политика, остановившая его паруса и руль, велела ветрам дуть назад».

Однажды Мелас, не быв доволен рассуждениями генералиссимуса о ретирадах, сказал с досадою: «Да, я позабыл [168] — вы генерал *вперед*». «Правда, — отвечал Суворов, — вперед! Но иногда оглядываюсь и назад, не с тем, однако же, чтобы бежать, но чтобы напасть». Мелас, в следующей по смерти Суворова кампании, когда, охраняя тесные проходы в Савойю и Дофине, почитал себя от всякого нападения в безопасности, а Бонапарт, устроив в Милане новое республиканское правление, запер его в сих самых дефилях, — вспомнил, верно, Суворова и сказал: «Ах, не оглянулся я назад!»



Фельдмаршал, получая беспрестанные из Вены напоминания о скорейшем взятии Мантуи, которую во всех бумагах называли неприступною твердынею, ключом Италии и проч., — наконец вышел из терпения и сказал: «Она будет взята другом моим, Краем. Но зачем лгать, называть ее первойшею, какою величал ее Бонапарте в своей *Campagne du General Buonaparte en Italic*, дабы прикрасить свое хвастовство и прикрыть свои ошибки? Крепость, которую он взял в один месяц и двадцать пять дней, в столь короткое время и [169] при столь малых пособиях, не заслуживает такого пышного названия. Один солжет, а тысячи повторяют». Вдруг, выхватив у маркиза Шаттелера план Мантуи, сказал: «Вот она! — где же ее неприступность? Бастион и рavelин по обеим сторонам ворот, праделлы защищают ее. Вот что пугает. Вся сила ее в укреплении Сен-Джеоржио. Зато какие выгоды для осаждающих! Если они овладеют башнею Терезе, тогда в руках их шлюзы, которые они могут спустить по произволу и осушить все каналы». Рассматривая план, замечал он многие другие выгоды для осады и при сем случае сказал: «Зачем не говорят о Торгоне? Вот крепость, стоящая на высоте скалы, стойшая пятнадцать миллионов королю Сардинскому, ни с которой стороны неприступная: ни гаубицы, ни бомбы ее не достигают. Она превосходит Брюнетгу и Мантую, — и будет также в наших руках, если нам не помешают». Она сдалась, как и Мантуя.\*

\* См. историю Российско-Австрийской кампании.

[170] Александр Васильевич, как я уже в одном анекдоте сказал, любил беседовать со мною о Венеции. И я всегда ею восхищался. Здесь прилагаю выписку из письма моего к другу о сем городе: «Пишу из Венеции. Вы полагаете читать описание сего единственного города. Так точно: он единственный, плавающий, качающийся на морских волнах город, где нет ни улиц, ни лошадей; где ум человеческий перешагнул пределы возможности; подчинил себе влажную стихию, всегда против него бушующую; соединил ее с твердынею камней, так чтобы борьба их укоренялась веками и их переживала, подобно дубу, от бурь твердеющему. И здесь, на сем равновесии механизма необъятного, возвышается на мраморной площади богатейший храм Св. Марка, древнейший памятник набожности, могущества, гордыни, богатства некогда Царицы морей, обрученной с Адриатиною, державшей в оковах все огненные жерла флотов во всем владычестве Нептуна и поработившей произволу своему всю торговлю Византии. Венеция и теперь, в самом уничтожении [171] своем, не теряет чудесного своего величия, торжества над природою и остается удивлением зодчества, удивлением творения рук человеческих. Для достойного изображения ее нужно сотворить новые слова, новые выражения. Итак, не ожидайте от слабого пера моего сего описания. Не читайте также изданных о Венеции книг. Вы найдете в них одни крайности: или представляют ее раем с ангелами, или адом с чертями. \* Италия не имеет еще Тацита. [172] Чтобы ощутить в полноте внезапные изумляющие впечатления, каких вам никакой город во всей вселенной дать не может, надобно здесь в Местре сесть со мною в гондолу и поплыть к Венеции. Тогда предстанет пред вами амфитеатр, орошаемый кристалловидными волнами; и в сем зеркале солнца сверкают, клубятся, резвятся отражения ярко позлащенных огненных куполов, и блеск алмазного моря не освещает, но ослепляет зрение. Вы увидите здесь, чего ни Лувр Парижа, ни Церковь Св. Павла в Лондоне, ни Капитолий со всеми сокровищами римских древностей, — вам не покажут. Утомляюсь от распаленного моего воображения; тщетно ищу слов, в которые желал бы облечь все неслыханные и невиданные здешние прелести. Скажу вам только, что я в городе и на море здесь, так сказать, на ста пятидесяти островах, связанных превосходнейшими мостами, прожил три дня в разлуке неразлучно с героем нашим. На площади Св. Марка продаются его реляции и неумолчно раздаются громкие крики: победы Суворова! Победы Суворова! [173] Слава его всюду сопутствует ему. Теперь оставляю Венецию, сей оригинал в физическом мире, и спешу к оригиналу в

нравственном. Прощайте».

\* Земляк мой, с которым я здесь подружился, и который более любит природу, нежели искусство, заметя непрерывающийся восторг, первыми впечатлениями во мне произведенный, – сказал мне наконец: «Поживите здесь, как я, три месяца, – и жар ваш охладет. Вступая в Венецию, мы прощаемся с истинною природою: видим здесь только искусственную, подражательную; мы прощаемся с царством растений. Здесь ступаем мы не по мягкой земле, но по твердому мрамору; не видим ни одного листочка, ни душистого цветка, ни благодатной ржи, ни развивающихся во всех постепенностях своих прозябений; не слышим соловья. Венецианец, не выезжавший из Венеции, есть жалкое творение: он ест хлеб и не знает, как хлеб произведен. Переехав на твердую землю, вы будете дышать свежим воздухом, какого здесь ни за какие миллионы достать нельзя; и под прохлаждающею тению дуба, или другого благотворного древа, насладишься таким бытием, какого никакая очаровательная кисть Артистов всей Италии дать вам не сможет. Вы сблизитесь с Творцом».

Отъезжавший в Рим английский путешественник был у Суворова и спросил его, не сделает ли ему каких-нибудь туда поручений. Ответ его был: «Зачем вы туда едете? Вы, по пословице, в Риме будете, а Папы не увидите. Он в руках разбойников. Но поезжайте, Рим останется Римом и без похищенных статуй Аполлона и Лаокоона. Пока Тибр его орошает, память величия его не исчезнет. Кланяйтесь от Скифа Капитолию и теням великих бессмертных. Скажите им, что он плачет, не видя их потомков, а только лишь выроdkов».

\* \* \*

Один генерал любил говорить о газетах и беспрестанно повторял: «В газетах пишут; по последним газетам, и т.д.». Наконец, Александр Васильевич сказал: «Жалок тот полководец, [174] который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, которые знать ему надобно и о которых там не печатают».

Один только раз в жизнь свою вынужден был граф удалить одного полковника, присвоившего себе солдатские артельные деньги. Но и тут не решился он выставить истинный его поступок, а велел написать просто, что он увольняется за *немогузнайство*.

Однажды князь Багратион и маркиз Шаттелер вошли со мною к фельдмаршалу. Мы нашли его в глубоком размышлении. Пред ним лежали: план Веронскому делу под предводительством Края, его реляция и карта. Вдруг прерывает он свое молчание и, глядя на карту, начинает делать следующие замечания: «Позиция, занятая Шерером, показывает школьника. Что посредством и трусливого военачальника приводит в замешательство, то отважному и опытному доставляет случай [175] показать свой гений во всем пространстве. Если он слабее неприятеля, то никогда не должно не доставать в нем средств скрывать свою слабость; если он сильнее, то старается обойти, окружить его и преградить ему всякое отступление. Но для сего нужно иметь подробные сведения о местности, знать все тропинки, возвышенности, проходы и проч. Правил для сего нет. Это дело обстоятельств, минуты; это дает гению опытность. Ни того, ни другого в Шерере нет. Взгляните на план и на карту: как можно на таком тесном местоположении сосредоточить до 18000 войска? Я лишь взглянул и поздравил друга моего Края с победою. Он, как герой, маневрировал, бросил всю свою силу на левый фланг, проникнул оный, привел в замешательство французские линии, преследовал канонадою и кавалериею тревожил бегущего неприятеля. Но вдруг нечистый дух шепнул: Унтеркунфт! — и погоня остановилась. Зачем с инфантериею не гнаться по теплым следам до Изола-де-ла-Скала? Там в беспорядке, в страхе, изнуренная маршами [176] и разбитая армия с главнокомандующим и со всем Главным штабом была бы в руках победителей. Но Унтеркунфт велел преждевременно оставить поле сражения и запретил воспользоваться

победою, которая решила бы судьбу Италии. Простите; я в бреду не кончу. Но оставим зады, а примемся за свое».

О Шерере за обедом у фельдмаршала рассказывали, что по прибытии его в итальянскую армию главнокомандующим, на первом смотре армии в Мантуе, поднимал он сам головы солдат, оправлял шляпы и заметил тотчас недостающую на мундире пуговицу. Суворов на сие сказал: «Ну, теперь я его знаю. Такой экзерцирмейстер не увидит, когда его неприятель окружит и разобьет».

Случилось мне переписывать немецкую бумагу, в которой встретилось слово: *форсированный марш*. Как переписчик, списал я точно так. Вдруг, в присутствии многих союзных генералов, раскричался на меня Александр [177] Васильевич, как я осмелился написать такое слово. Что форсированных маршей, так как и тихих и медленных, в его словаре нет. «Быстрота моя, — продолжал он, — знает только один марш! — вперед! И орлы полетели!» Приказано всем слова *форсированный марш* никогда не употреблять. Я молчал; ибо знал, до кого это относилось.

Государыня императрица Екатерина в Кременчуге, в проезд в Таврическую область, изволила спросить Суворова, не имеет ли он какой просьбы. Он бросился к Ее ногам и просил о заплате за нанятую им в Кременчуге квартиру. В тот же день выдано ему из казны, по его показанию, двадцать пять рублей, с причитающимися копейками.

Перед Турином некоторые генералы осмелились представить Суворову разные затруднения в рассуждении взятия Турина. Он рассердился и вскрикнул: «Пустое! Аннибал, прошед Испанию, переправясь через Рону, поразив галлов, перешед Альпы, — взял в три [178] дни Турин. Он будет моим учителем. Хочу быть преемником его гения».

Александр Васильевич приказал мне запискою пригласить генерал-аншефа Видима Христофоровича Дерфельдена к себе. Я написал. Взглянув, сказал он: «Нет, это не годится. Я тебе продиктую, вот так: «Суворов просит пожаловать к нему Его Высокопревосходительство Видима Христофоровича, начальствовавшего в Праге атакою правого крыла над 1-ю и 2-ю колоннами со славою, Героя при Гальце. Прибавь два раза: и проч. и проч». Сам и подписал. После Вилим Христофорович спрашивал меня: «Что это за милости?» — «Старик наш расшутился».

Когда генерал Серюрье просил пленному своему войску пощады и снисхождения, то Суворов отвечал ему: «Эта черта делает честь вашему сердцу; но вы лучше меня знаете, что народ в революции есть лютое чудовище, которое должно укрощать оковами. Однако победы, оружием приобретенные, [179] оканчиваются милосердием. По взятии Варшавы прочитал я депутатам города стихи из Ломоносова, отца русской нашей поэзии: Великодушный лев злодея низвергает,

Но хищный волк его лежащего терзает...

Велел пересказать сии стихи по-французски и ушел. Серюрье воскрикнул: «*Quel homme! Какой человек!*»

Князь Александр Васильевич любил вспоминать о важнейших эпохах своей жизни. С

князем Багратионом беседовал он часто о Праге и Варшаве, где тот находился под его начальством. Увидя одного старика подполковника, обрадовался он и вскрикнул: «Здравствуй, старый сослуживец, расскажи нам что-нибудь про Прагу». «Не умею, — отвечал он, — пересказать все, что я там видел; да и сочтут за басню. Помню только и не забуду, что когда получено было известие, что неприятель из всех ретраншаментов выбит, что батареи его везде нашими войсками заняты и что самая Прага была уже взята и от неприятеля очищена, то Ваше сиятельство приказали разбить малый шатер [180] на окопах и легли на постланной соломе отдыхать. Я тут был на карауле и видел, как все войско не шевельнулось. Один другому лишь на ухо шепнул: «Бог помоги отдохнуть нашему отцу спасителю. Он не спит, когда мы спим; не ест, когда нас потчует, и еще в жизнь свою ни одного дела не проспал». Это не любовь, а страсть. — Грешен я, Ваше сиятельство, позавидовал Суворову». Князь бросился его целовать со слезами: «А я стыжусь и не прощаю себе, что позабыл имя достойного служивого».

В Аугсбурге поставлена была к дому его в караул рота. Тотчас велел ее отпустить с сими словами: «И в мирное время, и в военное время охраняюсь я любовью моих сограждан. Два казака — вот моя прислуга и стража».

В Пиаченце, рассматривая картинную галерею одного маркиза и увидя портрет Юлия Цезаря, засмеялся и сказал: «И сей великий муж платил дань человечеству; стыдился своей плечи; и закрывал ее всегда лавровым венком» [181] — Но когда совсем неожиданно увидел портрет Петра I-го, то остановился и едва не бросился на землю. Потом произнес хозяину дома: «В Риме почитали того безбожным, кто в числе своих пенатов не имел изображения Марка Аврелия. Ваше уважение к нашему Великому Государю служит мне залогом ваших возвышенных чувств».

Фельдмаршал велел мне написать заметку следующим образом:

<b>ДИРЕКТОРІЯ</b>			
<b>ВЕРТЕПЪ РАЗБОЙНИЧІЙ.</b>			
<b>Ея кровопійцы: Проконсулы:</b>			
<b>Бонапарте.</b>		<b>Моро.</b>	
<b>Массена.</b>	<b>разбойники.</b>	<b>Макдональд.</b>	<b>честные, но несчастны- вые республиканцы.</b>
<b>Сюшепъ.</b>		<b>Жуберъ.</b>	
<b>Ламоанъ.</b>		<b>Шамионе.</b>	
<b>Монришаръ.</b>		<b>Серрюрье.</b>	
<b>Брюнъ.</b>			
<b>Рей.</b>			
<b>Руска.</b>			

«Не довольно знать», — сказал он, — «воинские достоинства неприятельских военачальников. Надобно знать и их [182] нравственность». После того, весьма много говоря о грабительствах республиканцев — Французов, о нашем бескорыстии, продолжал он: «Как стараются они прикрашивать, даже облагородствовать злодеяния свои техническими словами. Например: когда Генерал, или Комиссар грабит, то они называют sie gagner, выиграть. О солдате никогда не скажут, qu'il a vole, что он украл; но qu'il a

trouve, что он нашел. — Этого мало: они хищничество преобразовали систематически в науку контрибуций, и опять технически назвали sie republicaniser, республиканизировать; не лучше ли squeletiser, скелетизировать. — Опустошив, высосав, разорив все владения, один богатый, великолепный Рим оставался еще для их корысти приманкою. Бертье вступает туда, — и древняя столица мира делается добычею алчных новых Вандалов. Рим без храмов, без сокровищ, без хлеба, без пастыря — ограбленная сирота, — О, несчастная Италия! ты была всегда яблоком раздора и театром войны. Терпи! — Мы оставляем тебе имя Русского, неоскверненное разбоем. Мы побеждали врагов [183] твоих; но не тебя». — С такими чувствами уныния оставил он сегодня Италию.

Растроганный до глубины сердца сими мрачными мыслями доброго моего начальника, видя пред собою войско в горести, обращающее в последний раз взоры назад с восклицаниями: «Прощай, добрая земля! поминай, как мы с стариком нашим за тебя поработали. Не забудем и мы твою хлеб-соль, твою лапшу (макароны), — Стою теперь на границе Швейцарии: другой язык, другое небо, воздух, другая земля, другие люди. Сюда Церера, Помона и Флора не заглядывали, И отсюда в последний раз смотрю на твои величественные красоты, декорации Итальянской природы, которых изобразить ни слово, ни перо, ни кисть не в состоянии. Уже воспоминания о древних обитателях ее дают ей прелесть преимущественную пред всеми другими народами. Хотя Греция разделяет выгоду сию с Лациею; но какое различие! — там ничто не напоминает уже о событиях древнего ее мира, там воображение ищет и не находит стези к оным; [184] все памятники прежнего величия сего просвещеннейшего народа сокрушились от руки варваров, и только редко являются наблюдательному оку странника какие-либо останки, сокрывшиеся от разрушения сих бурь. Здесь же — какое зрелище! — еще покоится Рим на своих семи холмах, еще блистает Капитолий, еще стены его орошаются чистоводным Тибром. Здесь стоит его Форум, там колоссальные памятники искусства свидетельствуют величие исполина — народа. Там нет страны, нет города, нет реки, которая не ознаменована бы была каким-либо историческим событием. А теперь и имя России будет греметь в летописях Италии и победами, и беспримерным великодушием на вечные времена! Но я забываюсь; я пишу анекдоты. Прощай Италия!»

Г-жа Синицкая прислала к графу Александру Васильевичу следующее письмо:

«Семьдесят лет живу на свете; шестнадцать взрослых детей схоронила; [185] семнадцатого, последнюю мою надежду, молодость и запальчивый нрав погубили: Сибирь и вечное наказание достались ему в удел; а гроб для меня еще не отворился... Государь милосерд, граф Рымникский милостив и сострадателен: возврати мне сына и спаси отчаянную

мать лейб-гренадерского полка капитана Синицкого».

Ответ графа:

«Милостивая государыня!

Я молиться Богу буду; молись и ты, и оба молиться будем мы. С почтением пребуду, и проч.»

Когда он успел испросить Синицкому прощение, то с коленопреклонением и со слезами пал пред образом и тотчас написал: «Утешенная мать, твой сын прощен... Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!»

Кто видел, как я, беспрестанное стремление Суворова к благодетельствованию страждущего человечества, кто [186] был теперь свидетелем сего сердечного его восторга, тот не может говорить об нем без жару.

Вот последний анекдот, — лучшего я не имею.

Представив в истории Российско-Австрийской кампании Генералиссимуса Суворова героем, в анекдотах человеком, но человеком необыкновенным, я теперь намереваюсь говорить здесь о беспредельной к нему любви и доверенности войска, и какими способами преуспел он в том.

Можно сказать, что войско не только что любило, но почти боготворило сего великого, единственного полководца. Все, что он ни скажет, было свято; никто не смел противоречить или рассуждать. В Италии, в неудачном одном деле, где многочисленность и выгодная неприступная позиция неприятеля делали все покушения с нашей стороны тщетными, начальник придумал хитрость закричать: «Суворов [187] здесь!» — тотчас все бросились вперед и легли. Но Суворов, узнав о том, сделал строжайший выговор и оплакал сих жертв слепой к нему преданности. Под Требиюю был я очевидцем, что на разных пунктах, где только начнут расстроиваться войска, его одно присутствие тотчас восстанавливало порядок. Я стоял с Вилимом Христофоровичем Дерфельденом на возвышенном месте и удивлялся сим явлениям. «Они для вас новы, — сказал мне почтеннейший генерал Дерфельден, — а я насмотрелся в течение тридцати пяти лет, как служу с этим непонятным чудачком. Это какой-то священный талисман, который довольно развозить и показывать только, чтобы одерживать победы. Он меня несколько раз в жизнь мою стыдил. Часто диспозиция его казалась мне сумбуром; но следствия мне доказывали противное. Справедливо сказала, — продолжал он, — Екатерина: «Я посылаю в Польшу две армии: одну — армию, а другую — Суворова». Едва кончил он разговор, как неприятель уже обращен в бегство. Дерфельден [188] поскакал и крикнул мне: «Вы видите, что я не лгу».

Но не на одном поле сражения приобрел он сию высшую степень любви и доверенности. Старики солдаты любили его в лагере и на квартирах, рассказывали о прежних его подвигах молодым; забавно передавали им его странности, его с ними разговоры; рассказывали об нем анекдоты, иногда небывалые, необыкновенные, шуточные. Словом, он был у них книгою, которую ежедневно читали. Взглянуть на него — и все веселы. Они почитали его каким-то существом высшего рода. Чтобы приобрести любовь союзных солдат, показался он с одним казаком на австрийской батарее, на которую сыпался с неприятельской стороны град ядер. Шутил с солдатами, которые были от него в восторге. Сие его бесстрашие разнеслось по всей их армии, и он сделался, так сказать, их идолом. Офицеры видели в нем отца, любящего награждать каждый шаг усердия. Генералы его любили, но и боялись: ибо с них взыскивал он строго и стыдил их разными насмешками по-своему. [189]

Так, узнав, что один генерал отозвался: не нужна мне диспозиция, при мне шпага, сказал Суворов: «Не показывайте ему диспозиции. Он храбр со шпагою, а полк его с топором: полк его когда-то выстроил ему дачу». Генерал покраснел. Дерфельден, Розенберг, Мелас и прочие все генералы с некоторою боязнию с ним обращались: ибо всегда опасались, чтобы он их не кольнул своею особенною насмешкою. Но вся армия была совершенно уверена, что он за неисправность накажет отечески, или словами его: «Солдату палочки, а офицеру арест». Но никогда никого не погубит.

Величайшее на всю армию влияние имело его благочестие. Солдату известно было оное. Ибо всегда после победы приносил он, со всем войском, пред алтарем всех благ Подателя благоговейные, сердечные благодарения. Таковой пример любимого военачальника утверждал в сердцах его подчиненных сию христианскую истину, что всякая их победа

есть дар от Бога. Часто кричал он войску: *Начало премудрости есть страх Господень!* Так, уроками мудрости, действовал он на умы! [190]

Знал он, что солдат не любит в начальнике своем пышности; и потому, соображаясь с сим, жил и он солдатом. Враг роскоши, обедал по-солдатски рано, хлебал солдатские щи и кашницу. Сие единообразие жизни с жизнью солдат сближало его с их сердцами; и они видели в нем Героя, Начальника, отца и первого своего брата — солдата. Сие поддерживал он и своею одеждою. Кроме торжественных праздничных дней, когда он украшал себя знаками отличия, был он всегда одет в простой солдатской куртке и тогда не требовал никаких почестей. Но величайшее искусство его было в разгारे со своими чудо-богатырями. Тут был он неподражаем. В их вкусе, в их слоге, в их языке беседовал он с ними. Опыты долговременной его с нижних чинов службы познакомили его с кругом их познаний и понятий, и каждое его слово и изречение были к тому приспособлены, как-то доказывают: его приказы, разговор с солдатами, словесное поучение солдатам и многие другие, которые они вытверживали наизусть и передавали товарищам. [191]

Солдаты говаривали: «Наш Суворов с нами в победах и везде в паю, только не в добыче: она вся наша». Такая мысль о бескорыстии начальника усиливала их к нему любовь. К сей добродетели присоединял он и справедливость. Под Рымником, по одержании победы, велел он разделить все доставшееся обеим союзным армиям поровну. И по примеру двух друзей, Суворова и Кобургского, русские и австрийцы сделались братьями — одною душою. О корыстолюбии Массены говорил он: «Ужели не вспомнит он, что в тесном гробе его не поместятся все заграбленные им и кровию обогранные миллионы? Добыча ваша, а не моя: спасибо, чудо-богатыри!» — кричал он; и сии слова разносились по рядам войска.

Благодарность его была не на словах. Тотчас спешил он в реляции повергнуть к стопам Августейшего Царского Престола достойных сподвижников своих. Уверенность, что ни один подвиг ревности не остается без внимания беспристрастного и благодетельного начальника, подвизала их к победам. Однажды в Турецкую кампанию [192] все полученные от Екатерины награды, знаки отличия наклеил он в мешок; выходит согнувшись, неся оный на плечах, и кричит всем ожидающим наград: «Ах! помилуй Бог! Как тяжела ноша. Так-то и нам тяжело было». Вдруг раскрывает мешок, вынимает знаки отличия, украшает ими и восклицает: «Нет! Легко бремя, когда Матушка так нас, детей Своих, милует и лелеет». *Ура* раздавалось по всем рядам.

На все войско смотрел генералиссимус оком строгого беспристрастия. Все пред ним равны. Не хотел знать никаких связей. Одно истинное достоинство обращало на себя все его внимание и покровительство; а потому никто не опасался, чтобы другой заслонил ему дорогу к счастью. Он получил сильное рекомендательное письмо о повышении чином одного молодого человека. Все не ожидали отказа; но он не согласился, сказав: «Осчастливив одного неблагодарного, я оскорблю несколько сотен достойнейших и старших. Дорожу уважением к себе армии», — и пребыл непреклонным. Не нужно [193] после сего отвечать на вопрос: не готов ли всякий умереть за такого начальника? И мне сказал он: «В Истории обо мне будь беспристрастен. Если ты меня любишь, то забудь сию любовь и не оскверняй лестию пера твоего, а меня в могиле». Я виновен пред тобою; ибо не умел воздать тебе достойно и не написал твоей Истории; а оставляю потомству одни лишь материалы. История твоя ждет — Плутарха.

КОНЕЦ